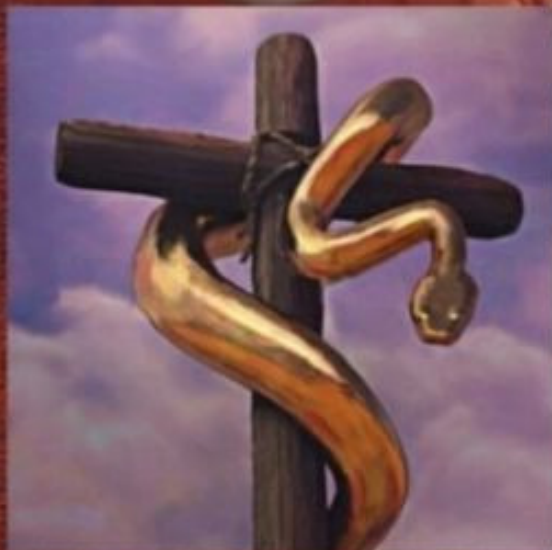


18+

ЗНА ИДА



Маргарита Гремпель

Маргарита Гремпель

Зинаида. Роман

«Издательские решения»

Гремпель М.

Зинаида. Роман / М. Гремпель — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-513199-7

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Роман «Зинаида» — это реальная история жизни простой сестры милосердия в районном центре. Рассказанные трагические события охватывают период от Гражданской и Великой отечественной войны по наши дни. Жизненные перипетии, которые выпадут на долю Зинаиды и её близких людей, не оставят никого равнодушным...

ISBN 978-5-00-513199-7

© Гремпель М.
© Издательские решения

Зинаида Роман

Маргарита Гремпель

© Маргарита Гремпель, 2020

ISBN 978-5-0051-3199-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Тихое солнце не палило почём зря, а лишь высвечивало маленький дворик перед зданием больницы

Они подъехали. Внук Роман повёл определять бабушку в хирургическое отделение. Он и сам был врачом. А она ему – бабушкой по отцу. Автомобиль уехал быстро, потому что бабушку тут же положили. А Роман остался дежурить в гинекологическом отделении, бабушка часто радовалась, что внук у неё – женский доктор.

Бабушку, о которой зашла речь в этот не сильно жаркий день, звали Зинаидой.

Она оглядела палату, спокойно вздохнула, подошла к окну.

Сегодняшний день ей показался самым лучшим днём в её жизни.

О своей болезни она сейчас не хотела говорить. Это было не самое страшное, что могло бы настораживать и серьёзно беспокоить медсестру с сорокапятилетним стажем, а сейчас зрелую пенсионерку, прожившую трудную, но – она была уверена – нужную жизнь. Только для того уже стоило жить, чтобы появился на свет внук Роман. И можно было сказать: у меня такой умный и красивый сын моего сына, и к тому же врач. А Романом его назовут при рождении, потому что этого захочет старший брат – он был сыном снохи от первого брака, его звали Виталий, а у него оказался на то время друг и сосед тоже по имени Роман.

Про своё имя, как оно досталось, Зинаида вспоминала теперь с улыбкой и трогательным сочувствием к тем неграмотным людям большой бедной деревни с неизгладимой опалённой печатью Курской дуги.

Их родственник по отцу, которого все в деревне звали Парнасом, а настоящее имя у него было Афанасий, пошёл в сельский совет регистрировать новорождённую, или, просто, записать девочку. Семьи тогда были многодетные, родственников у Парнаса было много, и часто посылали его, даже доверяя выбрать имя. Это стало уже как бы обычаем, традицией. Кто-то и когда-то счёл его то ли счастливым, то ли удачливым, и эти счастье и удача должны были передаваться и детям, которых он именовал. Но случилось в этот раз так, что он потерял записку, где родители написали имя, и никак не мог вспомнить, потому что в тридцатые годы в их деревне не было ни одной женщины по имени Людмила. Афанасий мучился и копался в своей памяти, так что даже загрустил почти до слёз. Наконец решение само стало медленно напрашиваться, будто ему кто-то подсказывал, и простая мысль начала заполнять его голову. Он вспомнил, что по соседству с родителями, появившейся на свет девочки, жила родная сестра матери, то есть получалось – родная тётка новорождённой.

Это была скупая, одинокая, работавшая на хлебопекарне, как говорили, женщина с «плохим глазом». Но никто и никогда бы не смог упрекнуть её в том, что она не любила свою сестру, очень худую носатую Маню. Та была замужем за Мишкой, самым высоким и красивым парнем на деревне, на которого «хлебная дива», так ещё называли её из-за хлебопекарни и за белые пышные щёки, имела свои виды. А тут сбоку припёка – он взял да и выбрал не её, а Маню. Она не могла понять этого, пока не началась война – жестокая и ужасная.

Сейчас дед Парнас мучил свою память и нашёл сладкое утешение от той мысли, что посетила его и вошла в его дырявую голову. Родная сестра Мани, а для её детей – тётка Наташа, «хлебная дива» или женщина с «плохим глазом», когда-то завела коз и стала называть их Зинками, в отместку своему суженому, кем она считала Михаила, а у того родную сестру звали Зиной. Но Михаил только посмеивался и на это не реагировал, даже когда она громко, аж на три двора кричала:

– Зинка!.. Зинка!.. Зинка!.. – как будто созывала кур в курятник, и делала это демонстративно, наигранно и ехидно.

Но для деда Афанасия главным оказалось теперь другое обстоятельство. Он знал, что назовёт новорождённую Зиной. Это дело стало понятным. Вся деревня знала, что в трудные голодные годы не жалела тётка Наташа козьего молока для семьи Конкиных, какой стала фамилия семьи Михаила и Мани после свадьбы, сразу нарожавших двоих детей-погодков, мальчика и девочку. А Зинаида стала теперь третьим ребёнком. Так и говорили односельчане:

– Спасла Наташка детей у Мани молоком Зинок!

Они говорили, безусловно, о двух погодках, вспоминая то трудное время, особенно голод тридцать третьего года, и добавляли:

– Знает, что сестра и сейчас не бросит их, поэтому ещё больше Зинок развела!

Вот и подумал дед Афанасий: что же в этом плохого, раз для спасения семьи таким трогательным, и замечательным, и большим по смыслу стало имя Зина? Не раз потом вспоминали односельчане эту историю, пересказанную много раз для них Парнасом, и по-доброму улыбались. Так появилась в одной из деревень Курской губернии новая жительница – Зинаида Конкина.

Сама Зинаида не очень любила своё имя и даже стеснялась его до определённого времени, пока не выросла и не поехала учиться в город на фельдшера.

Зинаида осмотрелась в палате лучше, увидела, что есть вторая кровать, и она занята. Разместилась на свободной. Как будто бы снова оказалась в родной стихии: как рыба в воде или птица в полёте – сестра милосердия на страже здоровья людей. Она отдала всю свою жизнь, всю сущность природы любимому делу. И выполняла назначения врачей, выслушивая стоны и крики, сквозь слёзы и страдания, успокаивая радостью выздоровления своих вечно оставшихся в памяти и в сознании, будто наяву перед глазами, любимых и незабываемых заболевших и исцелившихся людей, памятуя о тех, кто рано ушёл из жизни. Чего ещё лучшего можно хотеть человеку, когда память у него сохраняет трудную, но честную жизнь, отданную во благо других в полном и бескорыстном служении долгу?

Как любой человек, Зинаида не помнила первых лет своей жизни. Если спросить учёных, когда маленький человек начинает осознавать своё бытие и окружающий мир, наверное, не будет на этот вопрос однозначного ответа. И Зинаиду не нужно было спрашивать об этом. Ей исполнилось пять лет, когда началась война, и она её запомнила от начала и до конца.

Вот и задаёмся мы много раз вопросом, порою подолгу задумываясь: когда началась наша жизнь? В утробе, до рождения или после? С чего? Когда стали понимать, что мы пришли в этот трудный, но светлый и солнечный мир?

Михаила призвали на фронт. Маня долго причитала:

– Мишка, Мишка, ты же вон какой высокий, тебя же сразу убьют... Не спрячешься... Окопов-то таких глубоких, под твой рост, не роют, говорят, не успевают. А, Миш?!

Михаил был высоким и красивым мужиком, хоть и «курнявый» – так в их деревне называли курносых. Из простой семьи, он и сам был простым, малодоступным, малоразговорчивым, несколько мешковатым тюленем с удивительно вьющимися волосами.

Уходили они на фронт всей деревней. Мужиков до войны было много, не хватало им всем деда Афанасия, неповторимого стихоплёта Парнаса. Он умер незадолго до войны, оставив после себя маленький заваленный домик с земляными полами и светлую, хоть и смешную, память.

Провожавшие женщины много ревели, причитали, учили, как спастись при атаке и отступлении. В общем, говорили бабы русские всё то, чего не знали сами, и мало понимали в военном деле. Говорили от большой любви к своим мужьям, братьям, сыновьям. Любовь переполняла души каждого, здоровых и прихворнувших, замужних и незамужних и даже тех, кто до этого враждовал между собой, но весть о войне умиротворяла всех.

Сестра Наташа тоже плакала и думала о том, что она не пережила бы такого горя – провожать на войну мужа, который оставил бы ей троих маленьких, несмышлёных детей, как случилось теперь с Маней. Вот и подумала она: где оно, счастье – в замужестве или в одиночестве?

Возвращаясь и возвращаясь к этой мысли, Наташа ещё сильнее, до боли в руках и груди обнимала несчастную Маню и не понимала, почему та была гордой и счастливой, будто озарённая лучами будущей победы.

«Грянула война громом несусветным. Загорелась родная земля пламенем страшного пожара. И пошли мужики страны Советов, все те, кто жил на Руси многострадальной и вокруг неё, на врага проклятого». Да и кто же, если не Мишка, пойдёт защищать Маню и своих детишек, среди которых пятилетняя Зина была самой маленькой и беспомощной? Не было в курских деревнях трусов и предателей.

И Маня, перекрестив Михаила, чтобы Пресвятая Богородица защитила его от напрасной смерти, просила его беречь себя и не лезть на рожон, не соваться под пули.

Пошли они, бойцы-новобранцы, сводным отрядом, поднимая за собой столб пыли. Заскрежетали телеги и повозки в жаркий июньский день. И жара эта потом всю жизнь мучила и настораживала Зинаиду, отложившись страшным пятном уже в памяти и сознании малолетней девочки. Эта картина растворяющейся в лучах солнца и раскалённого воздуха пыли, где на фоне всех, кто уходил на фронт, раскачивалась кучерявая голова её высокорослого отца, запомнится ей навсегда. Больше она его не увидит. Только на фотографиях, что остались в доме: с них на неё будет смотреть всегда молодой и красивый отец, не стареющий от времени. Спустя три месяца, когда ещё не высохли слёзы на глазах женщин, проводивших своих мужей на фронт, Маня, одна из первых, получит извещение, что рядовой Конкин Михаил Евграфович, её муж, пропал без вести. Так она стала вдовой, но всю жизнь будет надеяться и ждать, что, может быть, он ещё вернётся.

Начались трудные дни: страх, голод или что-то ещё, чего нельзя объяснить, смешалось в единый ком страданий людей, кого коснулись Великая Отечественная война и оккупация.

Зинаида помнила, как немцы вошли в деревню. Были они поначалу не злыми. Угощали конфетами, шутили, заигрывали, пытались говорить на ломаном русском языке. Длилось время «фашистского рая» недолго. Затем деревня погрузилась в ад. Настоящий, крошечный ад: расстреливали коммунистов, евреев, насиловали и убивали женщин, уводили коров, тащили поросят, забирали курей. На глазах у Зинаиды выстрелили в голову безногому старику, не попавшему на фронт, а потом – женщине, от которой осталось двое сирот.

Жители деревни уходили в леса. Ещё до этого, пока немцы не дошли до Курска, всех призывали рыть окопы. Дети тоже рыли, точнее, помогали. Маня брала с собой и Зинку, потому что оставить её было не с кем. Первые детишки были уже взрослые по меркам тыла и тоже помогали рыть окопы. Зина была слишком мала и доставляла Мане одни только трудности,

потому что при налётах фашистской авиации, бежать и прятаться вместе с ней, было сложнее, чем увести за собой двух погодков, и они уже научились этому, деловито и сноровисто.

А вот Зину она прижимала к груди и бежала, но лечь на живот не могла, падала на бок, удерживая и поднимая её, чтобы не отбить ребёнка внутренности.

Система оповещения не всегда была своевременной, неожиданно налетевшие немецкие самолёты косили наповал и взрослых и детей. И как считать: были они участниками войны или тружениками тыла? – если на этих окопах, земляных валах, в противотанковых рвах и заградительных траншеях поверху и внизу лежало порой столько трупов женщин, детей и стариков, что могло показаться, что здесь и есть тот самый фронт. Какое чудо спасало Маню и её детей, она не ведала. Она была вместе со всеми: и рыла, и копала не меньше других, и плакала на кровавые мозоли своих первенцев, которые не хотели уходить от матери, когда им разрешили остаться в специально оборудованных местах, похожих на детские сады или школы.

И теперь, когда фашисты пришли, и нужно было уходить в леса, рыть землянки, все уже научились делать это быстро и ловко, накопился огромный опыт на окопах. Но зачем нам, Господи, этот опыт, чтобы он стал привычкой у наших детей, привитой им в то опасное время вместе с грудным молоком кормящих матерей и от страха, переданного по наследству от бежавшего под пулёмётным огнём люда. И этот страх застывал на лицах убитых женщин и на мёртвых губах бездыханных детей, не способных от природы сохранять на себе гримасу смерти. Лица всех детей у всех народов всегда жизнерадостные и жизнеутверждающие, как у ангелочков, которых рисуют в виде пухленьких детишек с крылышками на стенах старых и уже новых церквей.

В землянках было сыро и холодно, стояли буржуйки. Топили их часто, особенно там, где было много детишек. Если оставалась в деревне учительница, то пытались открыть школу прямо в землянке и учить детей. Сама Маня была неграмотной, помнила барина, революцию, а учиться так и не довелось. День своего рождения не знала. Мать ей сказала, что она родилась в то время, когда «цвели овсы». Потом работала, как и Михаил, в колхозе. Выполняли любую работу, профессии как таковой у них не было, значит, делать, как говорилось, умели всё. Михаил легко управлялся с лошадьми, с плугом, а потом и с трактором. Маня доила и кормила коров, чесала овец, могла шить и вязать, а Наташка была искусницей по мучной выпечке, потому её сразу заприметили и забрали на хлебопекарню.

Война длилась долго. Сельчане, измождённые чувством голода и страданием, получали горькие известия о погибших родственниках, слушали сводки информбюро и продолжали верить в победу. Лютая зима сорок первого года помогла не пустить немцев в Москву, а для жителей землянок была страшным, нечеловеческим испытанием.

Маня сберегла всех троих детишек, не осознавая своим женским малограмотным умом, как она смогла это – в слезах и одиночестве бороться с нуждой, голодом и заочневшими руками прижимать и согревать своих худющих обездоленных сирот. И такой она была не одна. Сколько их, думала потом Зинаида, по всей стране таких женщин и детей, устоявших и выживших, хлебнувших до краёв своего терпения безутешной горечи вдов, выкормивших и сохранивших жизнь будущему поколению.

Когда немцы ушли, домов в деревне почти не осталось. Сожгли всё. А дом Мани почему-то не тронули. И она поняла почему. Он был самый плохой и дряхлый, покосившийся, с окнами, вросшими в землю, с соломенной крышей, а внутри и того хуже – одна-единственная комната с утоптанной до каменистой плотности землёй, чтобы называться полом. Она его даже мыла водой, и он не стирался, как земля, а блестел, будто камень.

Ведро с водой, из которого она мыла этот пол, наполнялось не землёй, а осевшей пылью. В тех домах, где обустроили хорошие завалинки, пол был не сильно холодным зимой, терпимым, а без завалинки – ледяным. У Мани завалинку не успели утеплить и поэтому

ходили в доме в валенках почти круглый год. Но летом наступала благодать, было прохладно, не душно – спасение от жары.

Когда фашистов поджарили на Курской дуге, в деревне появилась снова жизнь, открыли постоянную школу. За парты в один класс сели дети разных возрастов навёрстывать упущенные знания. Уже все поверили, что война закончится, и победа всё равно скоро наступит. Детишкам после землянок, где их учили читать и считать, теперь нужны были и другие знания. Но в классах собрались разновозрастные дети – трудно было всем. Зинаида до сих пор вспоминает, что у неё была особенность при заучивании стихов. Она долго их зубрила, но утром не могла вспомнить ни строчки. Проходила неделя, и стих как будто сам всплывал в памяти, и она его чеканила, как говорили, от зубов отскакивал, да ещё не с детским, а со взрослым выражением чувств и переживаний – наверное, такими их сделала война, потому что детство у них она забрала навсегда.

И сегодня, когда её просит взрослый внук Роман, о котором мы уже говорили, рассказать стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», она с удовольствием, с артистическим порывом и так вдохновенно декламирует строки великого поэта, что доставляет минуты радости всем, кто её слушает. Вместе с ней почти заново начали учиться сестра Муся и брат Василий, повзрослевшие дети, высокие в отца. Ваську тоже называл и давал ему имя покойный дед Афанасий – в честь Василия Ивановича Чапаева, легендарного революционного командира. С Мусей была подобная история, как и с Зинаидой. Назвал её Парнас в честь какой-то героини или персонажа из старых довоенных фильмов, никто уже этого не помнил, но то, что в сельсовете это имя расценили как «Мария», дед так и не узнал, а в школе по свидетельству о рождении она была Мария Конкина, хотя все её продолжали звать Мусей. Кто же разбирался в таких премудрых тонкостях, что имена Муся, Маня, Маша, Мария – это одно и то же имя? Поэтому сестра её уже в паспорте, а она его получила раньше, чем аттестат зрелости, прочитала, что она – Мария Яковлевна Конкина. Маня долго не могла понять, как это получилось, что у них с дочерью одинаковые имена. И различало их теперь только отчество.

Отца у Мани звали Яковом, он же был дедушкой её детей, и был он священником, о чём говорить вслух после революции было неуместно, но Маня считала, что только благодаря отцу-священнику она стала набожной. Детишек своих крестила втихомолку, чтоб никто не знал, времена оказались другими: как она говорила, «атеизму учили». Зина тоже помнила это время – время «воинствующего атеизма», когда её подружку красавицу Элеонору за церковные увлечения и христианские обряды, хотя она до сих пор не уверена, была ли у Элеоноры настоящая вера и есть ли настоящий Бог, сначала исключили из комсомола, потом – из школы. Это была длинная и постыдная история. Вспоминать о ней Зинаида не любила, оттого что она вместе с другими учениками осудила Элеонору, хотя самой Элеоноре это не помешало после удачно выйти замуж, став счастливой женой и многодетной матерью.

Муся училась хорошо, Василий не учился вовсе и был большим шалуном и шалопаем, хотя учёба давалась ему легко, а вот у Зинаиды было всё наоборот. Она хотела и желала учиться, но все предметы ей давались так трудно, что для всех она была неисправимой зубрилкой, даже мать, Маня, ходила в школу за тем, чтобы попросить директора и всех учителей задавать Зинаиде уроки или домашнее задание заранее, хотя бы за неделю. Вот тогда, благодаря её усидчивости, особым свойствам памяти, упорству, она читала, но скорее проживала строки из поэзии или прозы, выразительно и словно нараспев удивляла стихами, с надрывом, а порою с трагическим символизмом наизусть приводила отрывки из романов и повестей, как настоящая актриса. Шпарила таблицу умножения, выходя далеко за пределы цифры «девять», без остановки. Во времена Мани учителя сказали бы, что знала таблицу умножения как «Отче наш», но тогда даже произнести это шёпотом было страшно, на 20 лет уходили некоторые, как их называли, враги народа в лагеря за такое безобидное сравнение.

Дети войны в то время после школы все работали. Васька пас лошадей и коров. Муська ходила с доярками на дойку, носила в ведрах и перетаскивала во флягах молоко. Зинаида копнула пшеницу и рожь. И многое другое, что могли и умели делать эти дети, раз выпала участь на их плечи и на плечи их родителей, а тогда почти одних женщин, стариков да безногих мужчин, кого не взяли на фронт. За работу, худо-бедно, их кормили. И это было немало, ведь шла ещё война.

После долгих изнурительных дней и ночей война кончилась, как и началась, по ощущениям человеческого сознания как-то сразу и вроде неожиданно.

Васька, сбежавший с уроков, вернулся в школу и заорал во всё горло:

– Победа! Войне конец! Победа!

Всех распустили, уроков в этот день больше не было.

Жили после войны так же бедно. Маня ходила по ночам собирать колоски, это когда на скошенном поле можно было ещё подобрать или сорвать уцелевший колосок пшеницы или же на ржаном поле раздобыть ржаной колосок. Но это наказывалось строго, хотя к покосу или сбору с этого поля хлебов уже никто не возвращался.

В каждой многодетной семье было голодно. Матери как могли, так и подкармливали своих детишек: мололи из зёрен, что оставались на колосках, муку, добавляли чечевицу и пекли лепёшки. Почему нельзя было собирать колоски на брошенных и как бы никому ненужных уже в этом сезоне полях, никто не знал. Маня так и не поняла этого до конца своей жизни, только Зинаида потом будет рассказывать своим детям, что за это даже кого-то посадили. И вот как-то Маня в одну из ночей пришла без колосков, вся грязная, в рваной одежде, бледная, напуганная и долго плакала. На этот раз объездчик Фёдор, заметив кучку деревенских баб, собирающих колоски, начал их гонять.

Все, кто был проворнее, разбежались через придорожные кусты и скрылись в лесопосадках. Маня, исхудавшая, измождённая, болеющая тогда какой-то болезнью, которую бил кашель, за что потом бабы её ругали, что только из-за кашля, раздававшегося на всё поле, как лай собаки, Фёдор их и обнаружил, а если бы не она, глядишь, ничего, как всегда, и не было бы. Она попала чуть ли не под ноги чёрного жеребца, на котором Фёдор сидел верхом и размахивал большой плетью.

– Ну что, косорукая, говорил: попадёшься – запорю!

Слово «косорукая» прозвучало для Мани как-то неожиданно, потому что дразнили её в детстве Носком, видно от девичьей фамилии Носкова. А в землянках в лесу, когда прятались от немцев, её придавило упавшим деревом и изломало руку в нескольких местах. Потом кости срослись неправильно, и рука стала согнутой, косою и высохшей и сильно отличалась от другой руки. Маня была правой, и искалеченной оказалась правая рука, что делало Маню неуклюжей, неловкой. Бежала она по пашне, по рытвинам и буеракам, падала, раздирала одежду и кожу о кусты и ветви деревьев. А тот, на лошади, время от времени догонял и перепоясывал её кнутом до красных полос на теле и рваных ран, что затянутся после грубыми рубцами.

А хуже всего, когда груди захлёстывал, очень больно было, и боялась Маня, что рубцы потом изуродуют молочные железы. Она выбежала снова на пашню, здесь было светлей, будто луна светила ярче, а пеньки от скошенных колосьев жёлтым светом отливали, оттого поле вокруг становилось янтарно-жёлтым. Упала на колени и закричала:

– Убивай, Фёдор! Запори насмерть. Детишек троих по миру пусти. И Мишку вспомни, не за себя одного, а, может, и за тебя с войны не вернулся!

Обуздал Фёдор коня, натянул поводья, ноздри у коня раздувались, и сам Фёдор тоже дышал тяжело. Трусом он не был, от фронта не прятался, а когда летом в гимнастёрке вернулся, места на груди не было, медали и ордена за доблесть солдатскую вплотную, как черепица на крыше, внахлест, один орден за другим, одна медаль на другой, закрывали его широкую, трудом накачанную крестьянскую грудь.

– Иди! – сказал он тихо. – И не попадай боле, – добавил ей в спину.

И все колоски, что у других баб отобрал, за пазуху Мане сунул. Но через разорванную одежду Маня колоски все растеряла. Говорят, после этого Фёдор отказался, у председателя в кабинете, охранять поля по ночам.

А председатель нажимал на то, что он приказ самого товарища Сталина выполнять отказывается. Но Фёдор сказал как отрубил, что того приказа никогда не видел и не читал, а про Маню у председателя промолчал. Знал, что та председателю дальней сродственницей приходится по Мишкиной линии, который с войны не вернулся. Под Москвой пропал, много там их, курских, полегло, страшная война была.

Ну а через три дня сестру Наташку забрали и осудили на шесть лет. Васька знал, в чём там дело было, вину свою чувствовал. За последний год он скрытный стал, щеки нарастил, побелел, как пышка, многие заметили. В плечах стал раздаваться, в весе прибавил, но жители села списывали на возраст – мол, растёт наследник у Михаила. А Васька заметил у тётки Наташи масло подсолнечное, а та сама стала с работы его частенько приносить. Поведился он у неё это масло подворовывать, убежал в кукурузное поле рядом с домом и, макая хлеб в масло, съедал половину бутылки, отлитой у Наташи. Она догадывалась, что за «кот» у неё завёлся, потом подкараулила и проследила за ним, но никому говорить не стала, знала, что и он никому не скажет, голод не тётка. Он ей сильно Михаила напоминал, похож был, сорванец, а она до сих пор Михаила любила и забыть так и не смогла.

Надеялась тоже, что вернётся. Взяли её, конечно, не по вине Васьки, просто органы хорошо работали. Сажали и других: за украденный мешок картошки, за карман сворованного зерна. А уж если попадётся на ворованном подсолнечном масле, совсем несдобровать, по полной программе давали, на много лет сажали. Сначала брала Наташка как бы понарошку, а потом, когда Васька стал у неё подворовывать, начала уже умышленно носить – не чужих же детей балует, а своего племянника подкармливает.

Маня увидела из окна, как конвой забирает сестру, выбежала, упала прямо ей на плечи. Рыдала. Конвой не оттаскивал, отвернулись, стояли молча. Понимали – время такое. Маня рыдала, себя не помнила. А Наташка слезы не уронила, спокойной была, лишь прошептала:

– Хорошо, Михаил не видит, позор-то какой!

Вернулась она через шесть лет, жили они с Маней по соседству, дом к дому. Прожила Наташа свою трудную жизнь, ещё поработать успела, пенсию получила, на пенсии пожила, сестре больше не помогала и умерла раньше её.

Маня продолжала работать и днём и ночью, в любое время: до войны, во время войны, после войны. Она уже давно не знала, что такое отдых. Про отпуск и думать забыла, слова такого или похожего в голове у неё не осталось. Детишек тянула, вырастить хотела, в жизнь выпустить, чтоб шли дальше, чтоб жили лучше. Работала в колхозе за трудодни, денег не платили, почти всё себе сама выращивала: капусту, морковь, картошку. Дети ленивыми не были, во всём помогали. От государства помощи тогда ни вдовам, ни детям, хоть сиротам, не полагалось. Они ещё государству помогали. Для всех установили налог: держишь козу – сдай шерсть, держишь корову – молоко сдавай, если даже курица одна во дворе бегаёт – всё равно государству налог отдай... Задолжала она налог на картошку, чуточку утаить хотела. Зимой, ночью – органы приходили чаще всего по ночам – пришли из продотряда, выгребли остатки картошки из подпола прямо на снег. Маня босиком, в одной сорочке на картошку брякнулась и запричитала так, как на похоронах воют:

– Не губите! Трое их у меня! С голоду помрут!

Председатель, благо родственником был, заступился – ушли, не взяли... А картошка, пока на снегу лежала, помёрзла за ночь, спустить-то сразу не смогли: мороз сильный был, как в сорок первом, детишек Маня пожалела, хоть они и проснулись тоже, и к окнам прилипли, и видели всё, да вот одеть их в такие морозы не во что было. Потом, когда чистили картошку,

она уже чёрной была, но всё равно ели. Зинаида с тех пор власть эту невзлюбила. Известие о смерти Сталина встретила в школе. Не плакала, как другие. Маня тоже не плакала, просто насупилась и задумалась, сохранив странный тревожный взгляд с некоторым обжигающим сарказмом. Почему Зинаида не плакала, она сумела бы объяснить как-то по-своему. А вот почему другие так ревели и даже рыдали в голос, она не могла понять. Откуда эта необъяснимая, странная и большая любовь к человеку, которого многие, а в их деревне – все, видели только на портретах. А ставшие страшными слова «Сибирь», «Колыма», произносимые как «ужас» и «смерть», стали обыденными, и взрослые говорили их шёпотом в бытовых разговорах, как шушукуются на кухне!

Маня ждала перемен. Детишек её давно уже предупреждали и пугали тем, что нельзя уезжать из колхоза, что паспортов им не отдадут; тогда, чтобы удержать крестьян в деревнях и сёлах, паспорта на руки не выдавали, а без документов уехать в город на учёбу, на работу было невозможно. Проще всех оказалось Василию. Он захотел стать офицером, что приветствовалось властью, и, словно по мановению волшебной палочки, Васька в одночасье стал курсантом высшего военного училища внутренних войск.

Здоровый, крепкий, курносый и кучерявый, он был похож на отца. Маня дала ему в дорогу вещмешок и буханку хлеба, уходил он под их взглядами: матери и сестёр. И день этот напомнил Зинаиде больше всего тот день, когда уходил на фронт отец. Они с Василием больше тоже не увидятся, не потому что с ним что-то случится, как с отцом. Обстоятельства жизни разлучат их так, что они волею судеб не найдут времени когда-нибудь снова обняться друг с другом, и на это будет много причин, и зависели ли они только от них, никто бы не решился теперь сказать, просто не смогут встретиться, вот и всё. Но и от матери, и от других людей Зинаида будет знать, что её брат Василий стал офицером, служил в тюрьме или на зоне, где-то далеко, некоторые говорили: в Тюмени, а другие называли города ещё дальше на Севере. Вроде бы он дважды женился, много пил, что было удивительно, поскольку в их роду алкоголиков не было. Писем не писал. И пережить не смог даже свою мать Марию Яковлевну, потому что спился окончательно и рано умер.

Муся же по направлению от колхоза поступит в ветеринарный техникум, потом, со временем, закончит заочно ветеринарный институт, станет врачом, будет лечить, прививать и даже принимать роды у колхозных лошадей и коров с подворий, выйдет замуж, как ни странно, тоже за алкоголика.

Родит двух детей – мальчика и девочку, назовёт одного Юрой, в честь Гагарина, первого космонавта Земли, вторую – Любой. Всё, может, оттого, что всю жизнь, как и мать, будет мечтать и думать о любви. И будет тянуть ляжку трудной жизни. Возьмёт к себе мать, а та станет помогать ей – нянчить и растить детей и бесконечно бороться за счастье дочери в непереносимом перегаре хорошего и доброго зятя, страдавшего страшной русской болезнью, которая унесёт тысячи жизней, уже никогда не восполненного столетия, всеми теми хорошими и замечательными людьми, «утонувшими» в стаканах горькой водки.

А сейчас бедная Маня думала и решала, как помочь Зинаиде поступить в медицинское училище, уж больно та мечтала об этом. Она не просила мать на словах, а каким-то волшебным грустным взглядом как будто умоляла: я смогу, пусть только возьмут!

Маня бегала и выбивала ей паспорт, разрешение уехать из колхоза. Время для этого после смерти Сталина стало более благоприятным, многое поменялось к лучшему. Зинаиду из колхоза отпустили – выдали паспорт. Но как теперь поступить?

Муся была сильна в учёбе – даже смеялись, что она много ела сахарной свёклы, а сахар, мол, пища для мозгов. Васька был физически крепким, что было главным приоритетом для офицера; намекали, что вырос на подсолнечном масле несчастной Наташи, заплатившей слишком большую цену за то самое масло. С Зинаидой было труднее всех: училась хоть и с усердием, но с большим трудом, была худая и слабая, хоть и широкая в кости. Лицом оформилась

по-другому, отличалась от сестры и брата, больше была похожа на Маню и её мать. Только у Мани был тонкий с горбинкой, высокий нос, а у Зинаиды нос был тоже большой, но ровный, прямой, с утолщённой спинкой, волосы простые редкие, жирные, отчего часто приходилось мыть голову, такие волосы были у деда Яши – отца Мани. Болела Зинаида чаще других, чаще Муськи и Васьки, и хитрости в ней не было, как и у матери.

У Муськи волос был густой, набитый и вился большими кольцами, и носы у них с Васькой были одинаковыми, учились легко, а Зинку порой дразнили за тугую память, слабую реакцию и заторможенность, стали обзывать её тормозом. Но Маня сразу пресекла эти вольности, объясняя, что она им родная сестра. Так по-разному перемешались гены семей и родословных Мани и Михаила.

Мане становилось обидно за младшую дочь, она нередко плакала в одиночестве и долго не могла уснуть – всё перебирала в голове разные варианты, как помочь младшей дочурке осуществить заветную мечту: стать медсестрой, или сестрой милосердия, как часто их называли во время войны, или фельдшером.

И тут Маня вспомнила о покойных отце и матери, в её голове промелькнула та мысль, которая так долго витала и маячила где-то совсем рядом, но не могла оформиться в то привычное состояние, когда человеческий разум способен распознать главное в закодированной информации, по наитию спустившейся откуда-то сверху.

Священник Яков, добрейшей души человек, женился когда-то на Сарре, которую привёз в курскую деревню из неведомых доселе далёких мест; в деревне уже не осталось тех живых свидетелей, кто бы это помнил. Сарра была из многодетной семьи, с невероятным количеством родственников. И все они были умными, грамотными, трудолюбивыми, потому и стали заметными людьми, добившимися положения в обществе: скрипачи, пианисты, повара в солидных заведениях, учителя, инженеры. А главное, что стало сейчас важно для Мани, были и врачи, и все они всегда и сильно дружили, переписывались, и рождались между собой в любые, даже самые трудные, времена.

Прожили Яков и Сарра долгую и счастливую жизнь в любви и согласии, как святые Пётр и Феврония. Умерли, чуть ли не в один день, но похоронили их, как они и хотели, в одной могиле.

Маня долгие годы ходила в соседнюю деревню на погост, ухаживала возле разрушенного храма за могилкой, которую, одну из немногих, не разорили немцы, а храм разрушили сами сельчане ещё в революцию.

К чему вся эта история? Да вот к чему. Маня отыскала и собрала все письма матери, которые та отдала перед смертью почему-то именно ей, а не Наташе, и отобрала из этого большого количества переписки нужные странички и конверты. Снарядила после выпускного вечера в школе Зинаиду в дорогу в другой город, где было медицинское училище.

В большой светлой, чистой прихожей в просторной трёхкомнатной квартире с высокими потолками встретила Зинаиду Ида Александровна Вербер. Она прочитала все привезённые ей письма, проверила у родственницы паспорт и взяла к себе жить. Зинаида тут же отписала матери, передавая ей привет от Иды Александровны. Немного смогла понять из всего происходящего молодая деревенская доверчивая девчонка, покинувшая с трудом и страхом границы курской земли. Но что её сильно обрадовало – то, что Ида Александровна была преподавателем в медицинском училище.

Она была статная, высокая, как-то особенно подтянутая, красивая женщина с большими карими глазами, пытливо смотревшими на неожиданно свалившуюся родственницу. Поговорила с Зинаидой, она сразу поняла: чтобы та смогла поступить учиться на фельдшера или медсестру, её нужно было сначала готовить – она пообещала за год попытаться это сделать и тогда снова вернуться к разговору о поступлении. Зинаида была согласна на всё. Она стала помогать Иде Александровне по дому. А та, видя старательную, но неопытную и неумелую девчонку

после деревни и земляных полов, тактично и вежливо стала учить её стирать бельё до кипенно-белого цвета, вкусно готовить из того, что есть, каждой вещи в доме найти своё место и добиваться таким образом чистоты и порядка. Овощи и фрукты, которые Маня прислала в первый год с нарочным, Ида Александровна возвратила назад и наказала передать Мане, что она уже давно живёт одна и поэтому прокормить Зинаиду сможет сама.

Через год Зинаида поступила учиться на фельдшера. Учёба давалась тяжело, но усердие помогло ей и здесь, чтобы иметь по предметам твёрдую четвёрку, а на старших курсах она стала отличницей.

Но как-то Ида Александровна заметила, что Зинаида загрустила. Прослышала она, что среди городских девчонок застенялась та своего имени, потому что в деревне у них Зинками и Катками называли очень часто коз, а Борьками – поросят.

В училище Иду Александровну любили и уважали. В жизни она военный хирург. Была сейчас в запасе, прошла всю войну, закончила полковником, много оперировала и после войны. Когда возраст взял своё, она стала преподавать в училище анатомию и уход за хирургическими больными.

Как-то вечером она завела разговор с Зинаидой и поделилась, что у неё был муж Зиновий, а хотели они, если родится девочка, назвать её от двух имён, чтобы никому не было обидно – «молодые и наивные были».

– Его звали Зиновий, меня – Ида, а вместе, значит, Зинаида. Так мы определили имя, если у нас родится дочь. И родилась! Да не одна. Двойняшки. Близнецы. И уж тогда, чтоб никого не обидеть, назвали их Машей и Катей.

Зина опешила и спросила:

– Где ж они сейчас?

Глаза женщины, к тому же хирурга, вдруг наполнились слезами, которые не перетекали за утолщённые края век, и она их не вытирала.

– Мужа и дочерей фашисты сожгли заживо у меня на глазах.

Больше они к этому разговору не возвращались. Только в этот раз Зинаида поняла, почему при их первой встрече она выделила и обратила своё внимание на особую подтянутость фигуры этой давно уже постаревшей от горя и возраста мужественной еврейской женщины. Перед ней была действительно женщина, наделённая мужеством и доказавшая своё право носить высокое звание советского офицера, она стала полковником в жизни и была им по сути.

Зинаида получила диплом фельдшера и познакомилась с мужчиной, который был старше её на 10 лет. Он сделал ей предложение о замужестве. Она, конечно, хотела бы знать мнение своей родственницы, ставшей за весь срок учёбы доброй наставницей, заменившей на время родную мать. Ида Александровна оглядела их обоих: невысокого, плотного, чернявого с раскосыми глазами мужчину, больше похожего на татарина, чем на русского, оглядела в последний раз Зинаиду, в которой смешалось много разных кровей. Она была высокая, широкая в кости, но всё ещё худая от юного возраста. С крупными чертами лица и заметным носом, что выделялся теперь больше всего. Она повзрослела, но ещё не набрала нужного веса, не округлилась, не нарастила щёк, чтобы несколько уменьшить выпирающее положение носа на лице. Родственница отметила про себя, что замуж ей было бы трудно выйти и, может, этот красивый брюнет – её счастливый случай, и подарила в день росписи огромный старинный чемодан, приобретённый во времена оны и набитый доверху неношеными изумительными платьями, кофтами, юбками и безупречным новым женским бельём. И, как бы извиняясь за это, объяснила, что почти всю жизнь проносила военную форму, а когда сняла её по выслуге лет, уже была в другой весовой категории.

– Кофты стали малы! – она рассмеялась, сочувствуя себе, заразительным детским смехом.

В палате, о которой мы говорили вначале, куда привезли Зинаиду сын со снохой и внук, что выхлопотал ей место, она познакомилась с соседкой. Та тоже поступила из района. Болезни у них были схожие, лечить их будут в отделении гнойной хирургии.

Врач держал в руках медицинскую карту стационарного больного и обрадовал Зинаиду, что они почти родственники, он тоже из курских полей, и добавил, глядя в окно, что тепла, наверное, уже не будет, лето, скорее всего, окажется холодным. Потом пошутил: как поют курские соловьи...

На новом месте Зинаида не смогла заснуть всю ночь...

Маня встретила дочь и мужа её Ивана тепло. Расспрашивать ни о чём не стала. Порадовалась, что Зинаида нашла свою вторую половину. Жить у неё долго они не собирались. Иван, как она поняла, должен был ехать на новое место работы. С чем это было связано, она тоже спрашивать не стала. По лицу дочери догадалась, что та счастлива, и заметила, как они симпатизируют друг другу. «Может, это и есть любовь», – решила тогда Маня.

Зинаида окончила школу уже в том возрасте, когда в другое бы время окончила её на несколько лет раньше: помешала война, потом год навёрстывала – готовилась к поступлению в училище, затем годы учёбы на фельдшера, и теперь наступило время, когда замужество стало ей необходимо. Кстати, Иван, как и все они, Конкины, в том числе и Зинаида и Маня, родился тоже в деревне. В пятилетнем возрасте осиротел наполовину – у него умерла мать, и он помнил этот день всю свою жизнь; мать лежала бледная на белых простынях и харкала кровью; когда он думал или вспоминал об этом, решил, что у неё был туберкулёз. Она позвала его к себе и спросила перед самой кончиной только об одном: «Ванечка, ты помнишь, сколько тебе лет?» Сын вытянул ручонку и показал все пять растопыренных пальчиков, а она улыбнулась и подтвердила: «Да, это правильно, тебе уже пять лет!», а потом ещё что-то шептала ему на ухо.

Помнил Иван и отца: звали его Акимом, он много пил, и забыть имя отца-тирана было невозможно. Но он никак не мог вспомнить, как звали у него мать, это было самым мучительным переживанием из своего прошлого. Отец почти сразу женился и продолжал много пить, мачеха невлюбила Ивана, а сестру более или менее привечала. Выживал Иван лишь тем, что ходил на мельницу. Он имел большие карманы, которые вшила ему в штаны ещё мать до своей болезни, чтобы незаметно ему можно было выносить муку, когда он насыпал её в те самые карманы и воровал. Так он кормил и младшую сестру, которая выжить бы, как он, не смогла. Но мачеха её не бросала и даже начала к ней привыкать, а Ивана часто наказывала, а потом и вовсе стала колотить и жаловаться нарочно мужу, а тот после долгих дней запоя, боясь снова потерять молодую жену, порол сына вожжами до полусмерти. Сосед, дед Прохор, приходил к Акиму и увещевал его, чтобы тот пожалел мальчонку:

– Ведь забьёшь насмерть!

– Ничего, злее будет, – отвечал Аким, – а значит, выживет в этой кутерьме!

Становился ли Иван злым на то время, сказать было трудно, но то, что он вырос на глазах, это был факт, который заметили его односельчане. Они удивлялись:

– Какой разумный мальчишка в пятилетнем возрасте!

И так говорили те, кому при случае удавалось поболтать с ним о жизни. Все они его жалели и что могли из одежды и еды подавали ему как сироте. Еду он относил младшей сестре, а сам всё чаще и чаще задумывался о побеге. «Бежать, бежать надо», – сверлила назойливая мысль его разум, да всё не решался из-за Соньки, своей сестры черноглазой, которую он бесконечно любил. Но жизнь в доме с отцом и мачехой становилась день ото дня всё больше невыносимой. Аким был здоровым бородатым мужиком, слабым на вино, а раньше – и до чужих баб; может, от этого, думал Иван, так скоро заболела и умерла его мать, будучи ещё молодой и красивой женщиной. Лицом, как говорили, он был очень похож на неё: смуглый, с монголо-

идными глазами, небольшим чуть приплюснутым носом. Аким врал, что взял её бесприданницей. Издевался над ней как хотел. Иван тогда клялся самому себе, что никогда не будет таким.

С Маней, теперь уже своей тёщей, он был, подчёркнуто, вежлив, называл её только по имени-отчеству и на «Вы» – с большой буквы, подчёркивая это особым тембром голоса. Мария Яковлевна из-за этого тоже стала называть его только по отчеству – Акимыч, придавая ему значимость перед дочерью.

Она знала, что он был старше её на целых 10 лет. Иван деликатно в гостях отказывался пить; пили тогда в основном брагу или самогон, который гнали сами, но земляки Мани не были пьющими, потому что много работали, чтобы выжить в тяжёлые и суровые голодные годы, в годы сталинского режима, а потом и война, что прошла по всей курской многострадальной земле. Но в один из дней Иван всё-таки напился с кумом Мани, да так сильно, что домой его привели под руки. Во сне он всю ночь кричал, ругался, сначала без мата, неразборчиво и непонятно, словно стыдился новых родственников, но к полуночи «проявил себя» в полную силу, орал во всё горло:

– Огонь, батарея! Огонь! Братцы, мать вашу... За Родину! За Сталина!..

И всё это он выкрикивал, перемешивая и поливая отборным, вычурным русским матом и особой интонационной хлёткостью. Наутро Маня сказала Зинаиде: «Русский он!» – и загрустила. Но Иван сам не знал, чьих он кровей. Отец был обычным крестьянином из большой русской деревни рядом с Украиной, а мать, со слов отца, из такой же деревни неподалёку. Жила в семье бедных крестьян. До революции отец много работал на барина, не пил, потому что за это у барина били: тот держал специальных людей и платил им больше, чем другим. В революцию разрешили всё – и понеслась душа в рай. Нарожали много детей, но четверых схоронили ещё в младенчестве. Остались двое. Иван старший, но о революции он знал только со слов отца, иногда рассказывала и мать, но немного: тогда ей было мало лет. Отец был намного старше её и считал себя зажиточным, у них после революции появились лошадь и корова, но потом, о чём он не говорил, всё это забрали в колхоз. Но вся правда была другой: что Аким лошадь и корову увёл прямо со двора того барина, на кого работал, а самого барина заколол вилами.

После гулянки с кумом Марии Яковлевны Иван стал торопить Зинаиду в дорогу. Маня и собрать толком ничего не смогла. Она так и не оправилась от довоенной и послевоенной нужды. Жила всё ещё бедно. Ведь немцы утопили курские деревни в крови и засыпали золой сожжённых домов и усадеб, где избы, как у Мани, были крыты соломой, а уцелевшая её хатёнка до сих пор сохранила прежнюю крышу, потемневшую от времени, и казалась такой, будто её зачернили сажей, которая уже не смывалась под дождём.

Зина обняла мать и заплакала, потому что она тоже не могла ей ничем помочь. Она мало знала Ивана, и всё, что могла знать, – только то, что он рассказал ей за короткое время знакомства.

Не было у Ивана, как говорил он, ни племени, ни рода. И многое из того, что он ей рассказывал, она понимала, отчасти было всего лишь плодом его бурной фантазии. Но, несомненно, оставались в его памяти и те события, которые просто выдумать было бы невозможно. Они тяжёлым бременем легли на его душу и сердце, заставляя чётко и ясно фиксировать это в памяти всю дальнейшую жизнь.

Иван в пять лет всё-таки решил уйти из дому, не выдержав истязаний отца и издевательств мачехи. Он взял свою сестру, маленькую трёхлетнюю девочку, тоже с чёрными, как смоль волосами, как и у него и какие были у матери, донёс на руках её до сада и прижал к груди очень сильно, понимая, что, может быть, больше они никогда не увидятся. Она тоже это чувствовала и по-детски пыталась у него выведать, узнать, что он собирается делать:

– Ванечка, ты не блосишь меня?

Всю жизнь в его ушах стоял и звучал этот риторический вопрос со словом «блосишь», которое в то время его малолетняя сестра не могла правильно выговорить. И сколько бы раз

он не вспоминал эту сцену – сто или тысячу, – его глаза наполнялись слезами, а потом текли по щекам, как тогда у чумазого немытого мальчишки, кинувшегося, как с обрыва, в океан бурлящей жизни, где его ждала стезя беспризорника, бродяги и сироты. Он побирался, воровал. Торговал ворованными вещами по рынкам. И колесил в поездах по всей стране. Его ловили, забирали в милицию, много раз пристраивали в сиротские дома, приюты, детские дома – как только тогда они не назывались, – но он бежал отовсюду, не зная, чего хотела его душа, его сердце, его измученный мозг и вся его ещё не сложившаяся и не сформировавшаяся натура маленького человека.

В тридцать третьем году, в самый голодный год, как ему потом будет вспоминаться, он направился в одну из харьковских деревень, где жили его двоюродные братья, туда несколько раз в последний год своей жизни возила его мать.

– Чем питаетесь, братишки? – спросил он у двух худых измождённых пацанов, таких худых, что просвечивали у них тела, если бы было можно посмотреть их на свету, а сейчас они сидели на печке, и в доме никого больше не было.

– Сестру доедаем! – одновременно в два голоса прошипели дистрофики.

Иван взял ведро и, не подавая виду, что испугался, пообещал им принести воды. Они настойчиво стали звать его к себе на печку. Он выбежал из дома и, не помня самого себя, не чувствуя под ногами твёрдой основы, бежать не смог, ноги стали ватными, и под ними хлюпала и растекалась слякоть.

Правду ему сказали братья или нет, он не знал. Но потом, будучи уже взрослым, он читал об украинском голодоморе и решил: всё то, что он увидел своими глазами и услышал тогда собственными ушами, могло быть суровой правдой и неприглядными страницами из жизни страны и биографии её вождя – Великого Иосифа Виссарионовича Сталина.

Вот тогда он осознал всю дальнейшую опасность беспризорной жизни и принял решение – уйти жить в детский дом. Его сразу приняли. С фамилией он финтил и крутил, окружающий персонал почувствовал это сразу. А он не говорил, якобы ничего не помнил совсем, и действительно, подумали они, в семь лет, которые ему исполнились к тому времени, с его слов, он мог и не помнить и путать фамилию или неправильно, неточно воспроизводить её по буквам. Всё происходило из-за того, что в первый год беспризорной жизни его принудили на некоторое время жить в одном из приютов, куда и приехал отец Аким, вроде как через милицию разыскивал сына. Он не узнал Ивана, а точнее, не признал в Иване своего сына. Иван тоже не хотел домой возвращаться и Акиму не сознался, что он его сын, а про него самого подумал: «Напрочь пропил мозги, даже не смог узнать меня, родного сына, а может, врёт, специально не узнаёт».

Потом Иван спрятался на кухне и долго плакал от горькой обиды. Повариха Клава спросила Ивана, почему он с отцом не поехал. Она-то сразу поняла, что они близкие родственники, даже не по внешнему сходству, хотя Иван, чего она знать не могла, больше был похож на мать. Но он давно уже понял, что был не нужен отцу, что тот продолжал жить с мачехой, но его без конца теребила и доставала милиция – куда он дел сына.

– Да пёс его знает, – отнекивался Аким. – Сбежал, зараза!

Сын ему был не нужен: лишний рот, если жрать и так было нечего. Иван теперь вспомнил одну страшную давнюю историю, когда ещё жива была его мать. Вырастили они всем семейством большую свинью и к зиме зарезали, засолили сало, положили в погреб, а ночью залезли воры. Встали они тогда все перед окном, кто сам стоял, а кого-то из детишек на руках держали, маленькие ещё были, стоять не могли – в общем, шесть голодных ртов идут смотреть в окно в ожидании как будто приближающейся смерти, удара судьбы или врага ненавистного. Мать сказала Акиму воспалённым голосом:

– Иди, останови их! С голоду помрём все!

Акиму испугался, смалодушничал:

– Выйди... а они ломиком по голове тюкнут. Наверняка же у двери кого-то поставили. И всё – конец жизни! – Не вышел.

– А так разве не конец? – кричала на него мать.

Потом она сама выбежала в сени, открыла широко входную дверь и сильно, с шумом и скрежетом ею хлопнула.

Воры, тащившие из погреба сало, часть его бросили, кто-то держал под мышкой, один, волоча по земле мешок картошки, не успел забросить его на плечо, но вместе с другими ещё продуктами сало не оставили и разбежались в разные стороны. Тогда всем семейством пошли, собрали остатки, что валялись на земле, и кусочки, что лежали в погребе, занесли в холодные сени.

В зиму двух детишек всё равно схоронили, то ли от болезни, то ли от голода, который вызывал эти болезни. С тех пор Иван недолюбливал отца, и тот это чувствовал. Ивану казалось, что из всех детей в семье отец не любил больше всего именно его, Ивана.

В эту семью он никогда уже не вернётся.

Но он всю жизнь будет думать и страдать о своей родной сестре, осознавать и помнить всегда, что только с ней вдвоём они остаются самыми близкими родственниками в этой жизни и на этой земле. Он найдёт её почти через сорок лет...

Очередной и последний в его жизни детский дом, где Иван решил задержаться, а может и остаться до конца, дал ему фамилию Шабалов. Эту фамилию он подсказал сам, потому что в прошлой жизни промышлял на рынках и торговал ворованными шоболами. Но он не хотел быть Шоболовым, поэтому ему в слове «шоболы» заменили две буквы «о» на «а». Но до конца всей правды, которую Иван похоронил в предыдущем детском доме, он не рассказал. Потом пройдёт время, он переставит ударение на второй слог и будет называть себя и представляться не иначе как Шабалов Иван Акимович.

А сейчас наступило время учиться: ему уже, как мы говорили, исполнилось семь лет. Он погрузился в сложный мир знаний и учёбы, что называется, с головой. Научившись читать, он много отдавал этому времени, читал запоем больше художественную литературу, которая имела в богатой библиотеке этого детского дома. Стал хорошо писать диктанты, изложения, сочинения. Подошёл к сочинительству собственных стихов. При этом почерк узаконил себе сам: буквы были у него с завитушками, строчка ровная, как натянутая на нить или струну. Каллиграфический. Это поражало, много видевших на своём веку, учителей, которые учили уже не первого такого Ивана, бежавшего от голода и сиротской жизни и прибывшего к ним. Он научился играть в шахматы, обнаружил в себе талант художника, мог перерисовать любую картину с большой точностью и мастерством, чем нередко удивлял окружающих – детдомовских мальчишек и девчонок, а вместе с ними и весь персонал.

Моисей Менделеевич Болотин – особая личность и целая книга из жизни беглого сироты Ивана. Это был замечательный, великодушный, добрый человек, поражавший своими знаниями в математике и физике, а больше – любовью к детям. В неграмотном и простоватом Иване он разглядел незаурядного мальчугана с математическими наклонностями, и стал учить его этой науке и её премудростям, и замечал, как тот рос на глазах и с большой лёгкостью решал разные задачи и примеры.

Моисей Менделеевич, пожилой седовласый еврей, имел большую семью: замечательную покладистую жену и шестерых детей, не очень взрослых, самой старшей дочери было семнадцать лет. Иван как-то просто сошёлся со всеми членами семьи своего учителя и стал больше всех отмечать и заглядываться на красавицу Нелю. Само собой случилось, что он часто стал бывать в их доме. Хотя, исходя из всех принципов и канонов того времени, по правилам самого детского дома, это не приветствовалось и даже негласно, по неписаным законам было принято детишек из детского дома к себе не приглашать, не брать, не оставлять ночевать, а тем более –

жить, усыновлять и удочерять. Моисей Менделеевич и так уже поменял несколько детдомов, где его за это морально били и наказывали – предложением уволиться.

Много детишек пройдёт через его руки, и он часто станет повторять:

– Я не из каждого сделаю математика, но я хочу, чтобы все вы стали честными людьми!

И он не ошибся почти ни в одном из них. Многие из его учеников попадут на фронт, станут солдатами и генералами, героями Советского Союза и часто, погибая и отдавая свою жизнь за Родину, будут вспоминать именно его, этого доброго и честного учителя математики, и с его именем на устах при последнем вздохе расставаться с жизнью за светлое будущее. Он проживёт все годы войны, продолжая учить детишек, и не попадёт на фронт из-за тяжёлой болезни – сахарного диабета, но потом у него появится новое выражение: «Как много я сделал для них, и как много все они вместе, кого я учил, сделали для России!»

Иван как-то осмелился, переступил через детский стыд и спросил учителя, пьёт ли их народ водку. Моисей Менделеевич покачал головой и ответил очень тихо и грустно, что пока у них нет родины, еврейский народ не должен пить. Тогда они – ученик и его учитель – ещё не знали, что государство Израиль появится на карте мира 14 мая 1948 года. Моисей Менделеевич не доживёт до этого светлого дня.

В тридцать седьмом году репрессии коснутся и Моисея Менделеевича, его станут обвинять в скабрёзных деяниях по ложному доносу. По надуманному пасквилю и инсинуациям коллег из детдома органы будут дёргать и Ивана. Он станет главной козырной картой или разменной монетой в обвинениях учителя, его будут спрашивать и пытать, для чего он так часто приходил в дом Болотиных, какие отношения были у них с Моисеем Менделеевичем, намекая и заставляя подписывать протокол о «неоднозначных отношениях» взрослых к детям. Тогда он впервые услышал слово «педофилия». Это были люди, не имевшие стыда, коверкавшие жизнь пожилого человека и вызывающие страшную неприязнь у молодого, взрослеющего, ещё не знавшего страха лагерей, бескомпромиссного Ивана.

Но дело вокруг Моисея Менделеевича как неожиданно разгорелось, так же неожиданно и без объяснения причин быстро затухло, а имя главного доносчика стало известно всем. Им был хромой Степан. Жил он неподалёку от детского дома, водил гусей, а бедные, изголодавшиеся детдомовские дети у него их воровали, потом жарили или варили рядом, в лесной посадке. Степан знал об этом, он ходил в лесопосадку и собирал выброшенные гусиные перья, приговаривая, что сгодятся на перины и подушки.

Богатым он не был, и винить его только за то, что у него были гуси, конечно, глупо. Но зря тот решил так отомстить детскому дому и его воспитателям и, как часто это бывает, выбрал самого безобидного, беспомощного и даже слабого по характеру – несчастного учителя. А главного подстрекателя из детдома, из воспитателей, который науськивал Степана, так и не узнали. Доброй души человек, Моисей Менделеевич испытывал огромное чувство любви ко всем людям и ко всему человечеству. Иван ему даже поклялся, что если его сошлют на Колыму, он тоже сбежит из детдома и пойдёт вместе с ним, поселится где-нибудь рядом с тюрьмой или зоной – он плохо понимал тогда разницу – и станет помогать Моисею Менделеевичу – выжить, ведь выжил же на каторге его любимый писатель Фёдор Михайлович Достоевский. Моисей Менделеевич, конечно, верил Ивану и знал: если тот задумает что-то, то обязательно сделает, поэтому говорил:

– Ты учись, становись большим человеком и измени жизнь на всей планете!

Всё утихло и улеглось, но имя главного обидчика, которое теперь узнал Иван, который покушался на свободу его учителя, он запомнит и затаится, как барс перед прыжком. И вдруг именно в то время он сбегает из детского дома, напугав всех, в том числе и Моисея Менделеевича. Тот подумал о самых страшных событиях, если всё это связано с обидой на хромого Степана.

Через две недели он нашёлся, точнее, его нашли, а если быть совсем точным, его привезла милиция в детский дом пьяным, в бесчувственном состоянии. В своей прошлой, сиротской бродяжнической и беспризорной жизни он научился многим плохим привычкам: курить, пить брагу или самогон, воровать всё то, что плохо лежит, но чаще всего он воровал продукты и одежду, если вырастал из старых курток и свитеров. Попав в последний детдом, где его учителем и наставником стал Моисей Менделеевич, Иван перестал курить и пить. А это были страшные, как бомба, папиросы «Казбек» и тем более придуманный людьми по сорок, а то и по пятьдесят пять градусов, а когда и больше, горевший синим пламенем от одной спички, как бензин, «народный напиток» – самогон, который за весь XX век сожжёт много душ и тел у русского народа.

От воровской жизни он тоже отошёл, гусей у хромого Степана не воровал. Но хорошо знал тех, кто это делал, и сочувствовал им, потому, что это были его друзья по несчастью и ещё потому, что жизнь во всех детских домах, в которые попадали они, не была сладкой, а сказать правду, не была сытной: кормили детишек плохо – время у страны было тяжёлое. Но Ивана в этом детском доме любили за разные его таланты: портрет он мог нарисовать любому, а на празднике прочитал собственные стихи, посвящённые учительнице по пению, так что она плакала, и плакал весь зал:

Папа наш живёт с другою тётей,
Может быть, хорошей и красивой,
Но зачем вы, мамы, детям врётё,
Раньше ведь была ты с ним счастливой.
Не приходит он за нами в школу
И за двойки больше не ругает,
А ещё сказали бы вы, к слову,
Что он деньги почтой присылает...

Поэтому Ивана подкармливали все, давали и позволяли поесть прямо на кухне, больше, чем другим, и он не тушевался, вспоминал со слезами лишь сестру, а о других заставлял себя не думать – беспризорная жизнь учила выживать. Товарищей своих, воровавших гусей у хромого Степана, он осуждал, но была у него и своя правда – он никого не выдал, когда органы допрашивали его и пугали тюрьмой.

От последнего запоя он отходил очень тяжело, болел, его тошнило и рвало, поварахи Клава и Степанида отпаивали его бульоном и рассолом, он пил всё это и не глядел никому в глаза, то ли от стыда, то ли от последних событий, которые свалились на его голову и в детскую неокрепшую душу.

Бегал он в свою деревню, откуда был родом. Хотел разыскать могилу матери и не нашёл. Точнее, могилку или место захоронения вроде нашёл, но не было на этом месте даже креста, никакой таблички или других обозначений, по которым можно было бы сказать, что здесь лежит и покоится его родная мать и как её зовут. Имя он так и не смог вспомнить за это время. По словам других людей, он узнал, что его отец вместе с новой женой и сестрой Ивана давно выехали из деревни, так как его затаскала милиция из-за пропавшего сына, подозревая, что старый Карабас-Барабас мог от него избавиться и даже убить. Спросить этих же людей про свою мать, как её звали, у Ивана не повернулся язык от стыда, обиды и мучительного горя, которые не давали ему покоя уже много лет. Был бы крест с надписью, с табличкой, что были почти на всех могилах, он бы и так смог прочитать, ведь стал уже грамотным. Иван выругался в сердцах, назвав своего отца собакой, и после этого бродяжничал по деревне и много пил, а жители жалели его и говорили с сочувствием:

– Видно, в отца пошёл, у них это наследственное, родовое.

А про мать как-то не вспоминали, будто она и не жила вовсе, вроде не своя, не деревенская, пришлая и чужая для всех. Лишь один раз Порфирий, уже дряхлый и древний старик, как-то, причитая, сказал:

– Не дожила цыганочка до такого позора. Да и как тут доживёшь от кулака зверя Акима. Упёр он её молодую из табора, лишил чести и свободы, без чего она жить не смогла.

А потом Порфирий сдал пьяного Ивана, которого поил и сам, в надёжные руки правоохранительных органов. Может, поэтому Иван не спросил Порфирия, как звали его мать-цыганку: потому что тот оказался мелким, гадливым и пакостливым мужичонкой.

Моисей Менделеевич дождался, чтобы сказать Ивану что-то важное, когда Иван пришёл в себя, но говорить ему в укор ничего не стал – жалел и как-то по-мужски плакал, тем более что Иван после разборок в органах, когда Моисея Менделеевича хотели посадить, больше к ним домой не ходил, опасаясь за судьбу учителя. Тут Иван сам заговорил с ним и рассказал ему не о матери, а о могиле брата отца и что фамилия у Ивана настоящая Шабашов, а не Шабалов, оттого что он, мол, торговал шоболами на рынке. Моисей Менделеевич рассмеялся по-доброму и сказал:

– Фамилию тебе такую дали не поэтому, а сделали запрос в другой детдом. Туда ты попал первый раз в пять лет, тогда ещё маленький был, плохо говоривший, ты повторял одно и тоже: «Сабалов», все и подумали, что ты, скорее всего, Шабалов, поэтому так и записали и передали эту фамилию в наш детский дом, где ты и живёшь сейчас.

Но Иван просил никому не говорить про его настоящую фамилию и родовую деревню, чтобы отец, к которому он возвращаться не хотел, не смог его найти. Через некоторое время Моисей Менделеевич всё-таки не выдержал и сказал Ивану одну важную, по его мнению, мысль о запоях и потом к этому разговору больше никогда не возвращался.

– Ваня, – приглушённым голосом обратился Моисей Менделеевич, – много хороших людей я встречал на своём пути, многие из них могли бы стать большими и яркими личностями, но их не стало, даже тех, кого я учил в стенах этого и других детдомов, потому что они взяли в руки стакан с водкой. Подумай об этом и запомни, что никто и никогда ещё не сумел победить водку, никто и никогда не сумел выпить её всю!

После этого разговора они отделились друг от друга, и что произошло в душе Ивана, Моисей Менделеевич понять не смог. Иван потихоньку покуривал, пить вроде бы не пил, или никто этого не замечал. Моисея Менделеевича продолжал уважать, но учиться стал хуже, и, может, не то что хуже, а без особого прежнего рвения и желания, давалось ему и так всё легко. «А что ещё большего нужно мне?», – думал он...

Иван вырос, повзрослел, стал бриться, как серьёзный мужчина, по-настоящему.

Растительность на лице у него была густая и чёрная, поэтому уже в 15 лет бриться приходилось подолгу и тщательно, и если он выбривался дочиста, то щёки и подбородок были с синеватым оттенком. Лицо у него было смуглое, как у цыгана, и он теперь знал почему. Плотный и коренастый, с зачёсанными назад чёрными прямыми волосами, он выглядел старше своих лет и нравился взрослым девчонкам, молодым и даже зрелым женщинам. И вот тогда, в начале злополучного лета, дерзкий и непослушный, неуёмный, но умный и хитрый Иван сжёг дотла всё хозяйство хромого Степана. Так он решил отдать должное Моисею Менделеевичу, отомстив Степану за его донос, в котором тот обвинил учителя и ученика в порочных связях. Хотя ходили слухи, что это было с подачи коллег. Степан не мог знать, причастен ли был Иван к краже гусей, но, безусловно, он его подозревал и за это ненавидел, усматривая в нём, в этом цыганёнке, лидера, оттого что тот выделялся умом и хитростью среди всех воспитанников детдома.

Ивана заподозрили в поджоге и не собирались гладить по головке с залезанными набриолиненными волосами; возможно, его ждала тюрьма, а скорее – колония для несовершеннолетних преступников, непристойная жизнь урки, а с этим тёмное и непредсказуемое будущее.

Зинаида восприняла его воспоминания испуганно и насторожилась, ожидая, что дальше пойдёт рассказ о тюрьме или колонии. Иван сам впервые признался только ей о хромом Степане, когда они встретились и расписались, став мужем и женой. Ему было 33 года, и он никогда и никому об этом не признавался и старался не вспоминать. Он всё тогда сделал в одиночку и тайно, и доказательств его вины не было как тогда, так и сейчас. Что его подвигло в этот раз на откровение, объяснить он не мог, просто нахлынуло что-то. Такое желание обычно возникает в поезде – рассказать случайному попутчику ужасную историю из своей жизни, потому что знаешь, что с ним никогда уже не встретишься. Но не о признании вины в преступлении говорят собеседники, не обнаруживают доказательства и улики, а подают это с другой стороны, как будто переживая и сожалея о содеянном, надеясь услышать от незнакомца скорее слова оправданий для себя, чем упрёков.

В дальнейшем он узнает, что хромым Степаном во время войны помогал партизанскому подполью, был разоблачён немцами и они повесили его на площади перед тем самым детдомом, который вырастил и воспитал неугомонного Ивана.

Степан на допросах, где его жестоко избивали, никого не выдал, молчал, сплёвывая кровь вместе с зубами.

Если бы Иван в то время, когда поджигал дом Степана, мог только знать, какой Степан на самом деле, он бы этого не сделал. Или сам бы ушёл в колонию для малолетних преступников, или искал бы и нашёл того главного Иуду из преподавателей детдома, кто использовал Степана в своих подлых и гнусных целях. Но в их жизнь ворвалась Великая Отечественная война. Уже грамотный и начитанный, Иван знал, что началась Вторая мировая война. И он снова побежал из детского дома, но теперь чётко понимая, куда и зачем он бежит: он бежал на фронт. Детдомовские мальчишки многие бежали. Говорили, что на фронте кормят лучше. А Иван бежал то ли из-за страха перед тюрьмой – тогда ведь могли сделать виновным даже без вины, и он уже об этом знал, а у него вины хватило бы на всех, – то ли тоже мечтал досыта наесться фронтовой каши. Но больше всего оттого, что что-то важное оживало в его душе, когда он думал, что фашисты бомбят те города и сёла, где сейчас, может, живёт и не умерла от голода его единственная близкая и родная душа. Наверное, уже подросшая и тоже похожая на мать сестра Сонька, с которой он расстался, прижимая, как тёплый комочек, её тельце к своей грязной рубашке, но к чистому и любящему сердцу брата.

Таких беглецов на фронт, как правило, ловили и возвращали в детдома, но Ивану повезло. Он встретил на своём пути полковника по фамилии Бездомный – не старого и не молодого военкома, но уже повоевавшего в Испании. Тот тоже вырос в детском доме.

Но самым главным для Ивана оказалось то, что Бездомный знал мудрого Моисея Менделеевича и учился у него. И не удержался полковник, чтобы не задать хитроумную математическую головоломку Ивану, дабы проверить, жив ли гений и дух Моисея Менделевича, и убедился, что жив, а Иван ещё добавит: «и здоров», легко и быстро разделается с вычислительным опусом на глазах военкома без карандаша и листка бумаги.

– А вот реши мне такую задачку, – хитро улыбнулся полковник Бездомный: – Одна амёба делится каждую минуту, за час наполняет стакан. За сколько будет наполнен этот же стакан, если положить в него сразу две амёбы?

– За пятьдесят девять минут, – без паузы ответил Иван.

– Молодец! Такие защитники нам нужны! – счастливый полковник пожал Ивану руку. – Или, может, ты знал её уже?

– Тогда в шахматы, – смело парировал Иван и бросил вызов человеку, который был старше его намного. Но и в шахматы Иван выиграл у полковника одну партию, а две всё-таки проиграл.

– Два один в мою пользу! – торжественно объявил полковник. – После войны придёшь, доиграем.

Поговорив с Иваном, военком понял, что в детский дом он больше не вернётся. Одна беда была – лет маловато. На дворе сорок первый, а ему только 15 лет.

– Хорошо, похлопочу, может, припишем немного к возрасту, ты ведь и сам теперь не знаешь, сколько тебе лет, ведь врал небось?

Иван обиделся, но смолчать не смог:

– Я никогда не забуду: пять лет мне было, когда мамка умерла в тридцать первом!

– Прости, Ваня! С Испании вернулся, там уже давно война. Черствею, наверное! Сейчас выпишу тебе направление, пойдёшь учиться в школу младшего офицерского состава. Артиллеристом будешь – там математика нужна, а в лётчики тебя не возьмут: лет мало.

Уходя, Иван услышал сокровенные слова полковника:

– Писал Моисей Менделеевич, как его посадить хотели. И о тебе писал. – Иван вздрогнул. – Хорошо отзывался. Я лично у товарища Сталина за него поручился! О тебе от других людей слышался разных слов. Не подведи, сынок!

Ёкнуло у Ивана сердце, сразу про поджог вспомнил. Пошёл он, не оборачиваясь, на выход, понимая теперь, почему так скоро и быстро улеглась шумиха вокруг Моисея Менделеевича, и кто хранил и не дал пропасть Ивану за понюшку табаку, и только бы теперь военком не передумал и не переиначил своё решение.

В сорок втором году, Зинаида с трудом в это поверила, Иван воевал под Сталинградом, а в сорок третьем, тут Зинаида от услышанного ахнула, Иван уже в звании старшего лейтенанта командовал батареей 76-миллиметровых пушек.

Один случай как урок он вынес из артиллерийской школы и не мог забыть. Это были срочные курсы по подготовке так не хватавших армии офицеров, и через полгода он окончил школу младшим лейтенантом. Отучился он легко и просто. А вот случай, который и назвать правильно невозможно – то ли это урок мужества, то ли урок страха, то ли расплата за зазнайство и мальчишеское бахвальство. Он не знал тайн и потаённых уголков своего разума, неокрепшего сознания и души. Так и после не смог бы сказать, что всё уже понял, как и любой человек не знает этого до конца своей жизни, пытаюсь понять, что отличает его, а что объединяет со всем окружающим миром, особенно в самые трудные и переломные моменты неоднозначных событий. Не знал Иван и не находил ответов и на многие другие вопросы в своей жизни.

Когда немцы бомбили города, нередко появлялись перед этим диверсанты или выползали из нор предатели – подсвечивали фонариками важные объекты, туда немцы и бросали авиабомбы. Таких негодяев по законам военного времени расстреливали на месте.

Иван с двумя такими же, как и он, курсантами заступил на ночное дежурство, чтобы пресекать действия предателей и диверсантов – задача нелёгкая: тебя бомбят, а в бомбоубежище не спрячешься, потому что как их тогда выследишь? Они заметили столб света, устремившийся в небо при приближении гула немецких бомбардировщиков; этот столб светил над тракторным заводом, который собирался выпускать танки. В плен решили взять диверсанта сами.

Что тогда двигало Иваном, он сформулировать не смог, даже когда писал объяснительную записку на имя начальника школы, где он учился на артиллериста. Было ли это желанием выделиться перед другими, прихвастнуть – может быть, он ловил себя на этой постыдной мысли, но всё же попытался успокоить себя тем, что он мог бы получить «Звезду Героя».

Вышел он на предателя раньше всех и скомандовал:

– Руки вверх!

А им оказался здоровый бугай, говорящий хорошо по-русски, но с украинским акцентом. Он взял за штык винтовку Ивана и легко подтянул его к себе.

Чем бы это закончилось, догадаться легко, потому что Иван настолько опешил, что даже забыл про винтовку и про то, что она заряжена и взведена – патрон в патроннике, – можно было

стрелять и если не убить врага, то хотя бы наделать много шума, но вместо этого он заорал что было мочи:

– Бра-а-тцы-ы! – и обмочился прямо в штаны, новые армейские, недавно полученные со склада.

Двое курсантов, что были с ним, подоспели вовремя, еле-еле они втроём связали предателя и отвели в комендатуру. Наутро узнали, что его расстреляли прямо там, во дворе комендатуры. Курсант, что по возрасту был самым старшим среди них, сибиряк, пошутил над Иваном:

– Вот так, Ваня, становятся героями! – и показал на его мокрые штаны.

Иван отвёл глаза и покраснел. Воспоминания об этом случае сделали Ивана другим. Он вдохнул страшный холод смертоносного инея, горячий жар разливающегося под ложечкой сильнодействующего яда, который приводит к быстрой смерти. Он пытался потом вспомнить того страшного верзилу, эту тушу жирную и необъятную, из-за чего он не успел запомнить даже его лица: глаз, носа, рта, – потому что всё это вместе сливалось, как в огромную, бездонную и сырую могилу.

...Под Сталинградом, а были с Иваном и те, кто воевал в Гражданскую и даже в Первую мировую, они называли этот город чаще по-старому – Царицыном, война для Ивана здесь сложилась по-особому. Его ещё жалели из-за возраста, откуда-то все узнали, что ему мало лет, что он из детского дома – смуглый, красивый цыганёнок. Речь у него была простая, с особым тембром, похожая на речь диктора по радио, все это заметили, в детдоме не успели, так как голос у него тогда ломался – он вырослел и становился мужчиной. Должность у него была для блезиру – второй заместитель командира батареи; командование понимало, куда его под пули ставить, был как посыльный. Трусом он, конечно, себя не считал, хотел воевать как все и со всеми; как утверждал он сам, на миру и смерть красна. Но его пока во время боя посылали куда-нибудь с «важным» донесением. Пушки часто перетаскивали на себе, он, по молодости, снял с убитых немецких офицеров хорошие кожаные ремни, чтобы легче привязать и тащить пушку, так не резало плечи. И выглядел в этом убранстве как улан без коня, драгун на пушке или разноцветный гусар. За километры было видно ряженого чудака. Тут один дед, артиллерист со стажем, паливший из пушек ещё в Первую мировую, умный и хитрый солдат, незатейливо поинтересовался:

– А что, Ваня, ты не знаешь, кого снайпер первым убьёт?

Иван онемел, он почувствовал подвох в этом вопросе.

– Снайпер в первую очередь значимую и важную фигуру выискивает, офицера, – пояснил дед. – От тебя, Ваня, за версту несёт сытым офицером, правда, пока – комендатуры; ремни-тоними.

Иван всё понял, и уже вечером его нельзя было отличить от любого солдата батареи. Ну куда от этого денешься, какой мальчишка не хотел прихвастнуть хромовыми офицерскими сапогами, кожаным ремнём да медалью, что у него уже блестела на груди, но и её он спрятал от снайпера – теперь ведь уже начинал понимать.

Под Царицыном, а с точки зрения исторической правды – под Сталинградом, немцы оказались в котле окружения. Об этом много уже написано. Ночью им на парашютах сбрасывали продовольствие. Они подавали сигналы ракетами, по-разному – видимо, договаривались по рации. Нашлись и у нас смекалистые ребята: заметят, как немцы сигналият, и тоже такой сигнал подают, например, немцы пускают три красные ракеты, и наши – три красные. Лётчик ничего понять не может, что называется, мечется и бросает груз на середину Волги. Ну а тут кто быстрее... И с той и с другой стороны ползут... Самые отчаянные. У немцев тушёнка была неплохая и хлеб в маленьких буханках, переложенных вощёной бумагой. Небольшой кусочек откусишь, разжуёшь, и полный рот. Вроде как прессованный. Говорили, что он у них по 20 лет на складах вылёживал. Командование строго запрещало играть в такие игры с фашистами. Из-за этой несчастной посылки убивали солдаты друг друга. Немцы-то от голода буйствовали,

а наши солдаты, молодые в основном, для развлечения больше устраивали такие «побоища». Ну иногда, чтобы шнапсу немецкого хлебнуть. Но была и другая сторона медали, трагическая. Бросал фашист вместо продуктов и спиртных напитков взрывчатку, это была ловушка – и сигналы ракет, и их цвет были с пилотом обговорены. Начинают потом бойцы её распечатывать, тут она и рвёт всех на куски. Иван по своей глупости участвовал в таких играх, несмотря на все запреты. И на немцев нарывались – всех тогда положили, один Иван двух фашистов сапёрной лопаткой изрубил. На взрывчатку не нарывался – везло, а вот тушёнки вражеской объедался до того, что штаны не застёгивал, потому что до уборной добежать не успевал. Тогда и случилась с ним эта история, которую долго помнил, и тушёнку есть перестал, и по льду Волги за посылками больше не ползал.

Когда начался бой, живот у него от тушёнки скрутило так, что передать невозможно, какие боли и спазмы начались. Перед боем это было, в принципе, у каждого солдата. Как говорят, у хорошего солдата перед боем всегда понос, но не с такими болями. Природа как бы сама готовила их на случай ранения – желудок и кишечник должны быть пустыми, иначе любое попадание пули или осколка в живот приведёт к перитониту. Когда всё содержимое, что через рот намнёшь, при ранении проваливалось в несчастное брюхо, а там воспалялось и гнило. Умирали от перитонита все, выживших таких раненых с перитонитом Иван не помнил. В этот раз он не мог понять, откуда из него столько бралось и выливалось, что уже и стыд пропал. Комбат увидел его муки и закричал:

– Беги, где снаряды у нас – место укромное!

От батареи это было достаточно далеко расположено, ведь не дай бог туда вражеский снаряд попадёт, тогда боеприпасов для своих орудий не останется, это уж точно, но взрыв будет такой мощный, что своих покалечит. Иван промучился минут сорок, боя не видел – временный склад для снарядов в овраге находился, но он обратил внимание, что уже как минут десять бойцы за снарядами не прибегают. Вернувшись на позицию, где была батарея, глазам своим не поверил: живых нет, пушки танками размяты и покорёжены. То ли в голове у него, то ли и вправду показалось, что мёртвые стонут. Еле дыхание сумел перевести. А это дед стонет, грудь вся в крови, но губами ещё шевелит.

Настоящую фамилию деда-героя, того самого, что про снайпера его учил, Иван хорошо запомнил. Стоянов это был, Иван Федосеевич. И он подбежал к нему, согнулся, чтобы услышать из уст того, чего дед пытается сказать – пить хочет или ещё что. Стекавшие изо рта слюны с тёплой, парящей на морозе кровью мешали говорить деду, но Иван заметил, что он уже снял зимний полушубок, который он один только носил на батарее, и попросил:

– Ваня, достань из вещмешка чистую гимнастёрку и надень на меня, в ней умереть хочу!

Иван уже не понимал смысла слов, всё делал на автомате, механически. И когда надел на деда гимнастёрку образца, вероятно, Первой мировой войны, то увидел на ней медали и ордена царской армии, ордена и медали с Гражданской войны. Были здесь награды и от белых, и от красных, ордена и медали с Советско-финляндской войны, и совсем недавно полученные на войне в Испании, и здесь же – в Великой Отечественной войне. Встал Иван перед солдатом русской армии, перед солдатом земли Русской, встал в полный рост, как в карауле, или словно взял на караул – выпрямился и напряжился, будто честь отдавал. Зарыдал, как сотни тысяч рыдающих матерей и жён, сыновей и дочерей, и долго не мог остановиться, а дед закрыл глаза и тихо умер.

Замполит дивизии орал, чтобы убрали с деда это «безобразие», и подозревал Ивана, что тот нарочно это сделал – за ним такое, мол, водилось. Лишь комдив, что недавно вернулся из сталинских лагерей, когда ему вернули звание генерала, тут оборвал замполита и сказал:

– Да, он воевал. И за красных, и за белых. Но воевал он за землю Русскую и умер за неё, как герой!

Потом он приказал все ордена и медали, все до единого, вместе с наградными книжками переправить родственникам, а они пусть решают, что с ними делать.

– Они навеки будут принадлежать его детям и внукам! История нас рассудит! – так сказал человек, который недавно хлебал тюремную баланду, который тоже воевал на разных фронтах и знал цену любой награде. Именно тот, кто рисковал своей жизнью, мог понять разницу между добром и злом и медалью, заработанной кровью и потом или шарканьем военных сапог по паркетному полу.

...Курск, в конечном счёте, стал особой вехой в жизни Ивана, как и эпохальной страницей в истории страны. Иван повстречал Зинаиду, которая была из Курской области, где красиво поют соловьи. Иван воевал на Курской дуге, где жизнь и смерть балансировали на неустойчивых чашах весов.

И жизнь с Зинаидой, теперь уже можно сказать, стала особой и трагической, в его неустанной борьбе с самим собой, или с судьбой, или с тихим домашним уютом. Эту жизнь он отравит сам. Это та борьба, глупая и никчёмная, несуразная, где нет, и не бывает победителей, а только есть слёзы и страдания всем, кто вольно или невольно стал участником драматического действия под названием «семейный очаг».

...Сейчас их батарея стояла на танкоопасном направлении. Но подлый и наглый снайпер бил и бил откуда-то с тыла, все подозревали и догадывались – точно, с часовни, что находилась за их спинами, солдат и офицеров батареи. Иван уже к тому времени стал старшим лейтенантом, грудь его покрылась орденами и медалями. Война для Ивана была в самом разгаре, он по-военному возмужал и набрался опыта. В тот момент, когда комбат взял трубку у связистов и получил приказ отступать, был убит снайпером прямо в голову. Связь оборвалась. Кругом шли бои, тогда Иван и увидел и узнал, как немецкие танки утюжат русские окопы и наматывают человеческие тела на гусеницы с ужасным хрустом костей и лязгом, переползая по мокрому грунту, перемешанному с землёй и человеческой плотью, напоминавшей окровавленный фарш. Крики и стоны заглушали шум вражеских танковых моторов.

Никто из батареи не узнал про приказ об отступлении. Иван поручил двум солдатам найти снайпера живым или мёртвым доставить его в расположение батареи. Он взял всё командование на себя и начал пристреливать орудия, пока ещё не появились фашистские танки. Как это происходит, что батарея пристрелялась, – специалисты знают, но нам сейчас главное не это...

На батарею притащили снайпера. И Иван, видя, как на Курской земле льётся кровь советского народа, понимал, что этот снайпер не дал бы батарее вести огонь, выбил бы всех подчистую, не жалея никого – ни офицера, ни солдата, ни девчонку фельдшера. Он заколол снайпера штыком от винтовки, но сделал это не по-военному, не с достоинством, а остервенело, как маньяк, убивающий свою жертву. Он тыкал его штыком до тех пор, пока разглядеть и увидеть по лицу немецкого солдата, что это всё-таки образ человека, стало невозможно.

Первый танк появился через час с открытыми люками, с бранью, что вырывалась и неслась из люков на ломаном русском языке вперемежку с чистым немецким языком, который Иван учил сначала в детдоме, а затем освоил его на войне до приличного разговорного объёма. Он догадывался и понимал, чего хотели фашисты, опыт уже накопился: они дразнили, чтобы русские начали стрелять и обнаружили боевые расчёты.

В тех кустах, до которых немцы доползли на единственном танке-разведчике, и была пристрелянная точка наиболее точного поражения врага и дальности стрельбы наших орудий. Вот там они должны будут выстроиться в боевые порядки, и, если Иван не ошибся в расчётах, наши пушки начнут выбивать их, а он не сомневался, что не даст им легко пройти на этом участке. На батарее было много новичков, но с каждым наводчиком Иван занимался лично и точность попаданий довёл до максимального процента, который можно было выжать за это время, что он воевал и видел уже много расчётов и толковых боевых ребят.

– Не пройдут! Ни за что не пройдут! – шептал он. И здесь его заражала не только ненависть, но, конечно, и юношеское самолюбие, когда комбат был убит, а судьба батареи, солдат, девчонки фельдшера, да и его самого, Ивана, зависели теперь во многом от военной судьбы и от него лично, от выучки и от мастерства всех на батарее.

– Не пройдут! – сказал он себе, но теперь так громко, что услышали все. Но никто не засомневался, что этот жестокий, злой детдомовский паренёк, никогда не поднявший руки на своего солдата, подведёт их или сдаст врагу маленький клочок русской земли, который они долго уже удерживали, будто здесь решалась судьба всей огромной страны и всего фронта.

Разведка немцам ничего не дала, все лежали или сидели молча, не выдавая себя, но всё сильнее и сильнее стал нарастать гул танков, и Иван в бинокль начал лихорадочно их считать, чтобы понять и высчитать соотношение сил. Он, охваченный пылом, страхом и ужасом, насчитал 72 танка, соотношение было не в пользу батареи, если разделить на четыре пушки, что было нетрудно.

– Стоять насмерть! – сказал он громко. – А кто побежит, заколю лично, как штыком заколол фашистского снайпера!

Но слова такие были лишними. На батарее не было трусов. И сам он потом будет жалеть, что сказал так, потому что никогда не обижал своих солдат – они все для него как детдомовские... Не было у них здесь ни отцов, ни матерей, а если где и были, то очень далеко или не очень – теперь не имело значения, как и то, что у кого-то они остались под немцами на оккупированной территории, а у некоторых пропали в неизвестном направлении эвакуации. Он просто впервые почувствовал себя для них отцом, или матерью, или всем вместе сразу в одном лице и сам понять этого не мог, зачем сказал так грубо. Наверное, оттого, что никогда на себе в полной мере не испытал чувства любви отца или матери и какими они должны быть для своих детей, не знал. Да, они стояли насмерть.

Через час от батареи не останется ничего. А уцелевшие немецкие танки, потому что их было больше, а у Ивана всего ничего – четыре пушки, да и тех уже не было, обогнут выжженную Иванову позицию слева и справа и уйдут дальше, в тот тыл, назад, куда батарея должна была перегруппироваться. Но этот приказ комбат унёс с собой вместе со смертью, но фашистские танки всё равно глубоко через оборонительный рубеж не пройдут, а сгорят на пожарище войны, далеко от родины, потому что ими управляли фашисты, что пришли грабить и убивать честных советских людей.

Иван огляделся вокруг: танков подбитых было много. Последние минуты боя, он помнил, шли на Ивановой позиции. В рукопашную, нос к носу. Как в штыковую. И он выкатывал оружие на прямую наводку, целился через ствол и стрелял. Все другие, кто в эти минуты был ещё жив, забрасывали вражеские фашистские чудовища противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Как он остался жив, понять не мог – наверное, опять повезло. Он направился к блиндажу, или скорее это была просто землянка, где лежали раненые. Их было шестеро – перебинтованных, перевязанных, стонущих и молчащих в тревожном, безвыходном ожидании. Фельдшер Анюта, молодая, русоволосая, со светло-синими глазами девчонка, лежала почти у входа.

Весь её низ, или всё, что было ниже пояса и выше колен, теперь оказалось раздробленным, размятым и окровавленным. Рядом дымился фашистский танк, который это сделал, когда она его забрасывала бутылками с коктейлем Молотова и вместе с танком сожгла весь экипаж, который собирался гусеницами раздавить крышу и стены её «больнички», крытого углубления в земле, и живо похоронить пациентов, шестерых раненых солдат. Эта мужественная и смелая девчонка, почти ещё ребёнок, из Рязани еле-еле сдерживала себя от крика и стога, собирая все силы и волю в один кулак, а вместе с ними страх и боль, чтобы не срамиться перед своими ранеными пациентами. Она обратилась к старшему лейтенанту не по уставу, Иван знал, что она испытывала к нему сильные женские чувства, и устав в эти минуты был не нужен:

– Ваня, дал бы пистолет, мучаюсь я сильно, всё равно... не выживу...

Он понимал, о чём и зачем она его просила, и не мог этого сделать по ряду серьёзных причин. Одна из них – он боялся особого отдела. Он слышал в частых разговорах о Берии, о нём знали здесь все: многие сослуживцы Ивана – герои – ушли в штрафные батальоны. Другие попали под расстрел трибуналов военного времени тут же, на месте; случалось, что на его глазах многих разжаловали или уводили прямо из строя в неизвестном направлении. И здесь он будто чувствовал, что чьи-то глаза всё время следят за ним, чтобы обвинить и покарать за то, что старший лейтенант Шабалов, имевший уже два ордена Отечественной войны, добивал своих после боя, имея неизвестные намерения вблизи линии фронта. А раненые солдаты наверняка на допросах под пытками подпишут у этих иезуитов Берии любые крамольные бумаги, чтобы сделать его предателем. Пока эти мысли заполняли голову Ивана, Анята закрыла глаза, сделала последний выдох и умерла. Все годы, которые Иван жил после войны, ему часто снилась Анята, которая просила у него пистолет. И он ей его давал, а она радостно и необычно смеялась и целовала его так сильно, что у него на щеках и губах оставались её сладкие слюны, но, просыпаясь в холодном поту и ужасных муках, он обнаруживал, что это были не сладкие слюны Аняты, а солёные и горькие собственные слёзы.

Этот сон изнурял ему душу до конца его жизни.

Он поил раненых спиртом, потому что не знал, как им ещё помочь. Сам тоже много пил, пока их не нашли свои же дня через четыре. Были разговоры, что Ивана представят к высокой награде, возможно к «Звезде Героя»; 36 танков и экипажей они оставили навечно на своей позиции – маленьком клочке Курской земли, не уступив ни пяди врагу.

Но вскоре, когда выяснилось, что главный герой жив, решили заменить звание героя на другой, но очень престижный орден, на что Иван почти не обиделся. Были рядом с ним герои и круче его, что уж греха-то таить, к тому же в России больше «любят» мёртвых, чем живых – он уже это успел понять.

В кабинете штабного генерала, а чаще их называли «паркетными», он выслушивал странные и непонятные для себя нарекания, крики о нарушении приказа отступать и что-то ещё в этом роде. Будучи грязным, обросшим чёрной щетиной, маленький, коренастый, пьяный, но твёрдо стоявший на ногах, Иван был безразличным до такой степени, что в этом состоянии готов был совершить любой героический поступок: броситься с гранатой на амбразуру, под танк, закрыть собой командира. Но слушать всякую чушь в этот момент он не мог и для чего это говорит генерал, совершенно не понимал. В конце концов, тот решил всё-таки пожать руку старшему лейтенанту, взявшему командование на себя, и поблагодарить за выбитые у врага танки. Самыми чистыми у Ивана были только кисти рук, потому что ему сказали, чтобы шёл в штаб расписаться в наградном журнале. Он кисти рук и помыл... Но понял потом, что над ним так посмеялись или просто пошутили, и когда он протянул свою правую ладонь для рукопожатия, она утонула в широкой и крепкой ладони генерала. Тот обомлел, что это была не рука, а ручонка юноши – тонкая, маленькая, с короткими пальчиками, и он спросил у Ивана прямо:

– Сколько тебе лет, старший лейтенант?

Иван не стал врать, рассказал всю правду, ему было уже всё равно. Он хотел на войну, и попал, и посмотрелся теперь досыта, навоевался, как хватил горячего до слёз. Признался, что ему 17 лет, что возраст приписал себе в детдоме, военкома Бездомного сдавать не стал, но всё равно попросил генерала не сообщать в особый отдел. Генерал обмяк, как будто постарел на глазах, провёл ладонью по голове сироты, погладил, потом раскрыл шкаф, где висел у него новый китель, и показал на ордена и медали, как померещилось Ивану, их там была тысяча или больше. Тот указал ему на орден Красной Звезды и сказал, что получил его в 16 лет, когда командовал конным полком Красной армии. Иван устыдился про себя, что подумал о генерале плохо, сравнивая его с «паркетным» генералом.

– Война для тебя закончилась, – сказал генерал. – Поедешь учиться в военную академию! – Генерал решил, что лучше послать мальчишку учиться, тогда про возраст можно будет промолчать; других вариантов у него не было, а то ведь обвинят в партизанщине.

Так закончилась для Ивана Шабалова война, но об учёбе в академии он никому и никогда не рассказывал – не любил. Повествование его обычно обрывалось на том, что после окончания войны в сорок пятом году он ушёл из армии совсем. И поскольку всю жизнь голодал, и на войну пошёл, чтобы там отъесться, потому что на фронте кормили лучше, и этой шуткой объяснял своё поступление в техникум пищевой промышленности, который успешно закончил.

Ну а чтобы Зинаиде не портить настроение, здесь он свою повесть о себе закруглял предумышленно коротким пояснением:

– Попал в Белгород. Встретил молодую женщину. Технолог пищевой промышленности. Поженились. Она родила двоих детей. Нашла себе лучшую партию. Развелись!

А теперь с Зинаидой он хочет построить новую семейную жизнь. Она ему верила, потому что не поверить в это было невозможно, а может, она этого и не хотела!

Зинаида, о которой мы начали свой рассказ – и не исключено, что он выльется в роман, – провела в палате первую ночь. Спала плохо, беспокойно. А в общем-то выходило, что и не спала. Заснуть так и не получалось, то ли оттого что вспоминала слова доктора о курских соловьях, то ли потому что на новом месте всегда так бывает, тем более в её возрасте, 79 лет уже – не шутка, то ли потому что именно воспоминания об Иване, её муже, перебили весь сон. Сама ещё не знала, зачем вечером смотрела телевизор и тоже расстроилась, что на Украине идёт война и люди одного государства – она считала Украину частью России – непонятно за что и почему убивают друг друга. А тут ещё соседка по палате ночью сильно стонала, наверное, её мучили боли. Вот и усни попробуй... У соседки болела нога. Может, это серьёзнее, решила Зинаида, поэтому она и стонала, а Зинаида могла терпеть, ей было не так больно – всего лишь второй палец на правой руке воспалился. В районе, откуда её привезли, хотели палец отрезать, но сын, тоже врач, не разрешил. Вот потому и приехали в шестую городскую больницу, она надеялась теперь больше на внука Романа, который в Пензе уже оперировал сам и познакомился с другими докторами, они и посоветовали привезти бабушку к ним. Вот и привезли...

Романа она ждала сегодня целый день, но у внука, она знала – он ей говорил, много дел. Занятой человек, на зарплату врача государственной больницы не проживёшь, поэтому каким-то бизнесом ещё занимается. Но она знает по своему опыту, так долго не протянешь, придётся выбирать: или хирургия в гинекологии, или бизнес. Совмещать не получится.

Ей было жаль, она знала, что сама заведующая ему говорила:

– Я, Рома, трёх человек в Пензе знаю, у кого руки и голова одинаково хорошо работают, как у настоящего хирурга-гинеколога. Вот ты один из них. Большое будущее у тебя может быть!

Весь день у Зинаиды брали анализы, она знала наперёд, что у неё будут брать – всё-таки много лет сама проработала в медицине. Потом врачи начнут определять, как её лечить дальше.

В районе ей уже резали палец. Это был молодой хирург, беда только в том, что он очень сильно пил. А здесь, она заметила, врачи трезвые. И успокоилась.

Иван и Зинаида, объединившиеся в новую семью, выехали в Среднее Поволжье, в село Бакуры Екатериновского района Саратовской области. Большое красивое село, в то время без преувеличения можно было сказать, что это рай на земле или райское место, или без натяжки назвать землёй обетованной. Они поехали туда, где Ивану предстояло стать мастером Бакурского маслозавода, а по сути – его директором. Потому что вышестоящий его начальник находился в Екатериновке и Иван фактически получался здесь, в селе, на маслозаводе, самый главный управленец. Зинаиду легко, без особого труда устроили фельдшером-лаборантом в сельскую амбулаторию. Село к тому времени насчитывало более трёх тысяч человек.

Когда-то, совсем недавно, до приезда Зинаиды с Иваном, это был районный центр, и жителей проживало больше, но когда районный центр расформировали, часть людей уехала, потому что не устраивало сокращение административного аппарата и уменьшение государственного финансирования, что значительно уменьшало количество чиновничьих «стульев», и они сменили место жительства.

Село Бакуры раскинулось по обе стороны реки, по разным противоположным берегам Сердобы, одинаково как на левых, так и на правых просторах её русла. Зинаиде показалось название реки очень символичным, потому что ей представлялось, что такое название может происходить только из-за того, что здесь живут сердобольные люди, и никак иначе. А вниз, дальше по течению был и город Сердобск, уже точно с хорошими, замечательными людьми, думала она, где у каждого горожанина должно быть доброе сердце – сердобольные горожане. А в название села сами жители издревле вложили ещё более таинственную историю, интересную по содержанию, которую знал каждый житель и охотно пересказывал её много раз за свою жизнь всем, кто и так её слышал и знал. Потому что отчасти это было как бы тайной самих жителей, и они осторожно и загадочно делились ею при первой встрече с незнакомыми гостями, но с чувством нескрываемого достоинства, исторического удовольствия и великодушия к названиям других городов и сёл.

Звучала эта история так. Якобы сама Екатерина Вторая, да-да, вы не ослышались, сама Екатерина Великая, проезжая в карете по селу, увидела кур и сильно этому удивилась, будто она их никогда не видела, или у неё было просто хорошее настроение, и она воскликнула: «Ба-а! Куры!» Других исторических версий жители не воспринимали, сочинителей на эту тему, кто говорил по-другому, не слушали, а историков, трактовавших появление названия села иначе, не любили. Эта легенда стала настоящим символом богатого русского поселения, а местные художники рисовали герб с удивлённой царицей в карете, вокруг которой было много кур; другие писали герб, где она их, кур, даже кормит, не переставая удивляться.

Деревня действительно была богатая, но оттого, что не было своей церкви, называлась селом. Но зато хвалились бакурчане, что у них был свой маслозавод, кирпичный завод, хлебопекарня, своя электростанция, большая двухэтажная больница с хирургом и операционной, амбулатория с врачом-гинекологом, в два этажа роддом, детский сад, а рядом – ясли. Колхоз для всех, а для лучших и отличившихся – совхоз-миллионер с табунами красивых породистых лошадей и советских тяжеловозов, с сильными бойкими отборными рысаками, собранными со всей страны, и с большими стадами коров и овец.

Война сюда не дошла. Дома были ладные, бревенчатые, срубовые, обитые, или чаще говорили – «шалёванные», дощечками, крашенные в разные цвета в зависимости от вкуса хозяина. Были и кирпичные дома, даже каменные, редко, но были. Несмотря на свой кирпичный завод, почему-то любили больше сельчане дома срубовые, бревенчатые, тогда как-то не говорили про такое слово, как «экология», не задумывались, а возводили из брёвен красивые терема, а такие мастера здесь никогда не переводились. Крыши у домов были крыты листовым железом, реже шифером, а уж в самом крайнем случае – толем, и то недолго: через некоторое время все соседи, общим гуртом, помогали хозяину перекрыть дом железом или шифером, укладывая листы прямо на толь. Дружные были все. Может, потому что все жили богато, зажиточно, в достатке, не завидовали друг другу, трудились до седьмого пота, любили свой тяжёлый загородный крестьянский труд.

После войны прошло почти 15 лет, поменялось много генеральных секретарей, прошёл не один уже съезд коммунистической партии, слышали и знали в деревне про культ личности Сталина, пели частушку про Берию:

А у нас соседа забирают,
Говорят, на Берию похож...

Разные политические события в то время, которые как-то влияли на страну или сотрясали её, не могли сильно изменить давно устоявшийся уклад жизни сельчан из Бакур, тёплых и приветливых людей. Конечно, нельзя не сказать о той глубокой правде и горе, которые коснулись всей страны. Пришли с фронта оставшиеся в живых крепкие русские мужики. Кто-то пришёл целым и невредимым, кто-то пришёл калекой и инвалидом, потеряв руку или ногу, кто-то вернулся больным после тяжёлых ранений, а те, кто не вернулся, отдали свои жизни за Родину. Были среди них и воевавшие бакурские женщины, особо храбрые и достойные звания героинь. Рассказывали один фронтовой случай из жизни Маруси Фролкиной, как та залезла на вражеский танк и забила ствол юбкой, сняв её с себя прямо на броне. . . От этого ствол после выстрела раздуло и разорвало. Маруся об этом особо не говорила, не хотела, стеснялась, а если всё-таки у неё кто-то спрашивал, краснела и убегала прочь, но храбрости женщинам из Бакур не занимать – что правда, то правда. И правду эту уже не скроешь.

Прошло много лет, и фронтовики опять-таки уходили из жизни, кто по старости, а кто по болезни или от ранений, сказавшихся на их здоровье. Ушли в другой, нам незнакомый мир.

Сельчане приняли после войны всех, и своих и чужих, кто решил начать здесь новую жизнь. Приняли всех как героев. Трусов и предателей среди бакурских и тех, кто пришёл с ними, быть не могло, и не было. Всем помогали одинаково. А однорукий Фрол косил одной рукой так, что многие с двумя руками не могли за ним угнаться.

– А зачем тебе, Фрол, вторая рука? – шутя заметил кто-то из вновь прибывших в деревню. – Была бы лишняя и мешала бы.

Затаив дыхание, косившие рядом мужики остановились: задавать такой вопрос показалось для всех гадким глумлением. Фрол тоже остановился, косу к плечу приставил, единственной рукой стёр со лба пот и ответил:

– А ты попробуй! Коса у меня острая! Другой раз без языка не согласишься!

Все засмеялись: молодец, мол, Фрол, не растерялся.

В каждом подворье, с каких уже пор и не вспомнишь, обязательно была корова, чаще две, а то и три, и четыре. Много водили овец и коз, кур и петухов. Петухов особо много было, и берегли их, чтобы деревня оставалась живой от их удивительного постоянного петушиного хора.

У Маруси Фролкиной петух был на зависть всем – большой, как индюк, а раскрасила она его краше павлина. Бабы над ней шутили:

– Маруся, а Маруся, ты при петухе-то юбку не снимаешь? Мало ли что он подумает, он ведь не танк!

Но Маруся к тому времени сильно повзрослела, обабилась, с войны прошло много лет, и за словом в карман теперь не лезла:

– А что танк, стрельнет, так стрельнет, а ваши мужички уже пукнуть громко не могут. Вот бы всем, молодкам, по петушку завести. Мой-то петух, какой крепкий, как и мужик у меня! – Она вышла замуж после войны за кузнеца местного, и все в деревне его знали и за силу его недожинную уважали. – Топчет кур, так уж топчет!

Бабы вздыхали и завидовали её «петуху».

– Да, Маруся, что правда, то правда. Все мы твоему «петуху» завидуем!

Водили в деревне и уток, и гусей, но реке – река была не сильно полноводной, а озёр и прудов, чтобы рядом были, не шибко много оказалось, не хватало.

Некоторые заводили свиней и как экзотику – индюков.

Рано утром, если собирались в центр, пройти было невозможно, стада коров шли по одной, по второй и по другим улицам так долго, что стоять приходилось не меньше часа, особенно детям. Родители им наказывали, чтобы боялись: а вдруг чья-то корова или бык подденут на рога, – так что ждали. Бережёного человека бог бережёт.

Маруся Фролкина наставляла сына:

– Гляди, бык как танк, идёт и не сворачивает!

А Фрол дочери объяснял:

– Корова рогами махнёт, как косою живот распорет!

Вся деревня утопала в зелени, не было ни одного дома, где не росли яблони, вишни, сливы. Реже попадались груши, а уж смородина да крыжовник расселились гуще кустарников. Все жители сажали картошку, морковь, капусту, красную свёклу, огурцы, помидоры. И это было за правило. В общем, легче сказать, чего не было, потому что в этой деревне было почти всё. Погреба и летом и зимой пополнялись свежим ядрёным квасом. Сами пекли хлеба и редко пользовались магазинным хлебом, свой-то из печи был вкуснее.

Весной деревня покрывалась красивым цветением яблонь, вишен, черёмух, сирени, и с высоты птичьего полёта были видны только серые пыльные просёлочные дороги, но когда сходил цвет, всё равно не было видно даже крыш домов, потому что летом их закрывали зелёные листья переплетающихся между собой ветвей плодовых и неплодовых деревьев.

И если дороги были для пеших и конных, то вы нам не поверите, что связь с большой землёй – Саратовом – была более чем необыкновенной. Здесь летал самолёт «Бакуры – Саратов», туда и обратно, хотя и называли его обидным словом «кукурузник». В те далёкие времена это был космос в некоторых смыслах этого слова, а для сельчан это был самый настоящий космос в полном смысле этого слова.

Но нельзя не вспомнить, как сильно коснулась деревни революция и Гражданская война, пострадали сельчане сильно, потому что окаянные годы прошли как по земле красивых и благоухающих мест, когда бандиты жгли их дома, так и по душам и судьбам самих жителей.

Больше всех запомнила Гражданскую войну, наверное, Дуня, уроженка этих мест с монголоидными чертами лица, даже иногда смеялись деревенские мужики, что она самого Мамаю видела, а возможно, и родилась от воина монголо-татарского нашествия, но это, конечно, была неуместная шутка, бравшая свои корни от неповторимой в молодости Дуниной красоты. Сколько ей лет, никто не знал. Некоторые помнили её молодой и красивой, да такой красивой, что утверждали: сам Котовский, который в мае 1921 года гонял по бакурским лесам одну из банд Антонова после Тамбовского восстания, влюбился в неё до беспамятства. Остановился он тогда в том доме, где сейчас жестяной магазин, большой и просторный, рядом с амбулаторией, напротив дома врача-гинеколога.

...Они проснулись утром, Григорий Иванович целовал беспрестанно Дуню и шептал ей на ухо:

– Дунюшка, родная моя! Люблю я тебя сильно! Ты-то что молчишь?!

– И я тебя люблю! – с тоской говорила Дуня.

– Ну так поехали со мной!

– У тебя, Гриша, жизнь слишком рискованная. Вдовой меня сделаешь...

Она глядела в самый корень исторических событий и потом узнает, что легендарный комбриг Григорий Иванович Котовский убит на отдыхе рядом с Одессой в августе 1925 года адъютантом бандита Мишки Япончика.

А перед отъездом из Бакур, рано на заре, рядом с домом Дуни Григорий Иванович поставит своего коня на дыбы и закричит на всю округу:

– Ну что, Дуняша, последний раз спрашиваю: любишь ты меня или нет?

Дуня распахнёт окно, вдохнёт полной грудью чистой майской свежести, перекрестит Григория Ивановича и со слезами на глазах простится с ним:

– Люблю! Люблю! Поезжай с богом! Григорий Иванович! Не томи душу!

Потом Дуня часто рассказывала сельчанам, какой Котовский был в то время, и с придыханием вспоминала о его недюжинной силе.

Затем, по прошествии нескольких лет, её возраст словно остановится, она больше не будет меняться внешне, то есть как будто не старела, ей было всегда по виду примерно 45—50 лет, это в ту пору, когда приехали в деревню Иван с Зинаидой.

В период буйных лет Гражданской войны, а это здесь происходило ближе к девятнадцатому году, Дуня уже была зрелой, дородной, статной дамой, а не юной глупой пигалицей.

История произошла тогда страшная: во время эсэро-кулацкого мятежа бунтовщики увели из деревни человек двадцать простых бедных мужиков, которые вроде бы были за красных. Забрали их, связали, как рабов, в одну колонну и увели в лес к Волчьему оврагу. Раздели до исподнего, остались мужики в белых нательных рубашках и таких же кальсонах. И бандиты всех расстреляли и потом даже не добивали. Март был на дворе, снега в овраге лежало много, знали, что кого не застрелили до смерти, всё равно замёрзнут. Так оно всё почти и вышло.

...Сегодня в Сердобске, в самом центре города, на площади, памятник небольшой уцелел, с позолоченной надписью – бакурским коммунарам, отдавшим свою жизнь во время эсэро-меньшевистского мятежа.

Но Дуня тогда любила крепкого молодого красноармейца Федота Ражева. Нашла она его в Волчьем овраге раненого, ещё живого, тот шептал:

– Уходи! А то и тебя пристрелят!..

– Да ты что, Федотушка! Любимый мой! Как же я без тебя уйду? Как же я тебя брошу? – она сняла с себя тёплую одежду, всё, кроме валенок, завернула его, как младенца, и 10 километров волоком тащила до деревни; дошла до первой избы, постучала и упала в проём открывшейся двери, простонав:

– Помогите!

Еле-еле отходили: обморозилась сильно, думали, не выживет, а если и выживет – руки или ноги отрежут. Ну а Федот, когда его в дом затащили, был уже мёртвый. До сих пор и не знают, умер он от ран, что у него были, или просто замёрз, пока Дуня тащила его по мокрому снегу, возможно уже мёртвого, на своём старом тулупе. Федот промок и, видно было, продрог, потому что покрылся гусиной кожей и стал весь розовый, значит, ещё жил и умер, вероятно, от переохлаждения, о чём больше можно было подумать. Долго Дуня потом вспоминала о Федоте, собиралась даже уйти на службу к красным, чтобы отомстить за любимого, но вскоре в селе всё поутихло, и революция разрешилась сама собою, пришла советская власть. Все, кто после Дуни, бегали в овраг спасти кого-то из родственников или вообще спасти кого-то, не успели: тот, кто не умер сразу от пули, замёрз от мартовской промозглой стужи.

Дуня оказалась тем первым человеком, кого Зинаида встретила в этом селе и полюбила, подружилась с ней навсегда. Была у Дуни и семья, если говорить на тот момент, когда Иван и Зинаида приехали жить в её родную деревню.

Дуня была по фамилии Мазилкина, а сын у неё, Иван, был Толстов. Родила она его уже поздно от заезжего в их деревню плотника Ивана Толстова, хорошего мастерового, рукодельного мужика, работающего по найму, а проще говоря – шабашничал он. Любила она его или нет, она и сама сказать не смогла бы. Но был он видный, крепкий, здоровый с виду. А значит, и дети, рождённые от него, должны быть здоровыми. Вот, может, поэтому и родила от него, а то, что он был женат, она, конечно, знала. Так пассия самого Котовского распорядилась своей жизнью, чтобы не прожить её в одиночестве.

Сын Иван вырос, стал тоже крепким, здоровым мужиком, но ростом меньше, чем его отец-плотник, и очень сильно пил, что не водилось за его отцом – Иваном Толстовым; скажем точнее: к несчастью Дуни, сын был запойным алкоголиком, не бакурской породы. Дуня нашла ему тихую, послушную жену Нюсю, к её огорчению страшную грязную, но хотя бы тихоню, и ничего Дуня так и не смогла с ней поделывать всю жизнь, какую им довелось прожить вместе. Сама-то Дуня была, как говорится, чистюлей, всё в руках горело, всё, до чего ни коснётся

в доме, выходило ладно и красиво, сама шила и вышивала, хорошо и вкусно готовила, в доме ни соринки, ни пылинки не увидишь.

Может, эта особая чистоплотность и свела Зинаиду по наитию сразу с Дуней, одной из старожилов деревни. Была жива у Дуни и мать, и вот возраст той уже точно определить никто не мог, но все говорили, что ей больше ста лет. Тихая, молчаливая, как будто немая. А ростом – она уже согнулась от старости, и до этого была небольшая, то есть невысокая, а уж когда сгорбилась – так вообще чуть больше метра от земли была её голова, если даже полностью разгibasь во весь рост, а это значило, что голову она иногда немного приподнимала, чтобы посмотреть чуть дальше.

Ивана дорога повела по своей извилистой траектории. В жизни ведь ничего не бывает случайного, и поэтому немудрено, что его первое знакомство в деревне, наиболее близкое и доверительное, произошло не с кем-нибудь, а именно с самой бабкой Калачихой. Жила она в деревне тоже давно, не меньше Дуни, но были они совершенно разными.

То, что ходили слухи, будто она с Антоновым якшалась, с тем самым, которого Котовский бил и громил в Тамбове и здесь и гонял по тамбовским и бакурским лесам, было сейчас не самое важное – пойдя, разберись, у кого она, правда-то настоящая, – у красных или у белых. Бабка Калачиха была хитрая, себе на уме, говорят, даже ворожила и колдовала. В деревне её не очень любили и привечали, при встрече крестились, чтобы она только не видела, днём обходили дом другой стороной, а ночью вообще боялись ходить даже в её сторону. Конечно, в этом было много суеверия и предрассудков.

Жила она с дедом Калачом, и в деревне уже мало кто знал, как их на самом деле звали, чьи они были по фамилии, так как уж очень были старые, древние. Детишки у них давно стали взрослыми и рано разъехались, а к этому времени уже и детишки сами превратились в стариков, а внуки, скорее, были рядом с пенсионным возрастом и в деревню никогда не приезжали. По крайней мере, только Дуня вспомнила как-то раз об их приезде, но это было давно, и те, кто мог ещё вспомнить, уже тоже сильно состарились.

Дед Калач и бабка Калачиха имели чистый ухоженный двор с добротными хозяйственными постройками, но давно уже в них не водилась живность. Не держали они ни коров, ни овец, ни свиней, ни птицу – сил им на это уже не хватало. Баню, что стояла в огороде, топили редко. Сад постарел, как и хозяйева. Сажали только картошку для себя и жили, может быть, на одну пенсию, если бы не одно «но». Бабка Калачиха была большим мастером, а лучше сказать, мастерицей по изготовлению самогона и ядрёного русского кваса. Угощала квасом любого гостя, а потом между делом предлагала рюмочку домашнего самогона.

Успех был ошеломительный; здесь часто и рождались слухи, что берёт она это колдовством и ворожбой, но Дуня в это не верила, а знала, что много времени потратила Калачиха, овладевая искусством приготовления кваса и выгона самогона. Почти вся жизнь у неё ушла на это. А ей приписывают хитрость бесовскую, а на самом деле настоящего успеха любой человек добивается трудолюбием, если можно применить такие слова к изготовлению зелья. Ну а что же здесь поделывать? Знала Калачиха: придёт время, и не будет у неё сил ни на сад, ни на подворье, а на что тогда жить, если Калачу пенсию не платили и даже хлеб она вынуждена покупать в магазине, а не как все бакурские бабы, что сами в русских печах пекут? И стали её напитки, начиная с кваса и до самогона, продуктами на зависть всем – неповторимыми, высоких качеств и, конечно, большого спроса у мужиков пьющих, в основном приезжих и заблудших.

На что им с Калачом было надеяться, если дети перестали к ним ездить, а самим жить приходилось дальше, остались они, как два сорняка среди пыльной дороги.

Вот и подумаешь теперь, что привело Ивана в чистый ухоженный дом бабки Калачихи. Отличался он лишь тем, что не было в нём русской печки, а вместо неё – голландка, небольшая, места много не занимала, но тепло в доме давала хорошее: Калачи зимой не мёрзли.

– Зачем ты его приваживаешь? – грубо спросил Калач у жены.

– А ты вроде не знаешь?! Перестань тогда намазывать хлеб маслом! – съязвила старуха.

– Тебе же Пётр носит!

– За деньги! А этот будет за самогонку. И неизвестно ещё... это при прежней директрисе Петька был в почёте, а кем его сделает этот пришлый, неизвестно. Знаешь, как бывает: сегодня – пан, а завтра – пропал. Поверь, этот бродяга не на один год приехал...

– Почему ты думаешь, что он бродяга?

– Пьёт много...

– Грех это! Семью разрушишь! – не унимался Калач.

– Не у меня он пить научился... А грехов у нас столько, что теперь уже одним меньше, одним больше... какая разница на Суде там? – горько заключила несчастная старуха.

Вернулся Иван домой в бессознательном состоянии, он не выговаривал ни одного вразумительного слова. Ночью бредил, «воевал»: видел войну и себя на батарее, которая стояла насмерть за Родину.

Кричал он так:

– Стоять насмерть! Заколю!!! Не пройдут! Героями не рождаются!.. Врут... всё врут... Анята! Анята! Я не могу, права не имею!.. Прости! Возьми мой пистолет, пока никто не видит!..

Он пришёл домой, который только что они получили от государства, в сильно пьяном виде от угощения самогонкой бабкой Калачихой и принёс ещё про запас с собой. Утром он проснулся рано, его мучило похмелье, и он опохмелился. Зинаида не спала всю ночь, глубоко вздыхала и собирала все силы, чтобы не разрыдаться.

Она решила с Иваном поговорить, называя его пока ещё по имени:

– Ваня, может, ты не с этого начинаешь на новом месте?! – она показала ему на самогон.

– Ты знаешь, как это сделать по-другому? – у Ивана начала копиться желчь.

– Но ведь другие живут без этого, и ничего? – воодушевилась Зинаида.

– Откуда ты знаешь, как они живут? Что у них на душе и в сердце? – Тут уже Иван понимал, что желчи некуда деваться и она сейчас пойдёт, и поэтому надо сдержаться, чего бы это ему ни стоило.

– Ваня, я понимаю: война – это трагедия! Но чем раньше ты начнёшь привыкать к другой жизни, тем тебе будет легче. Выбрось из головы своё прошлое!!

– Ду-у-у-ра! – заорал Иван и поспешил выйти из дома, чтобы не сделать чего хуже.

В селе их встретили хорошо – они были не первыми специалистами, кто приезжал в Бакуры. Зинаиду, которая устроилась лаборанткой в деревенскую лабораторию, о чём уже упоминалось, сразу полюбили за трудолюбие, чистую душу, доброе сердце, сильный, но не злобный характер. Она была просто трудягой, и то, что у неё не получалось сразу, она брала настойчивостью и усердием, как, впрочем, и всегда было в её нелёгкой жизни.

Как-то она задержалась на работе, и зашёл главный врач, он же был хирургом, и он принимал Зинаиду на работу, спросил:

– Почему задерживаетесь, Зинаида Михайловна?

Он увидел удивление на её лице. Так удивлялись многие, кто слышал своё имя-отчество, не успев устроиться на работу: они просто не знали особенностей главного врача, что он легко это запоминал.

– Да хочу научиться сразу всему, пока время свободное есть, – Зинаида обрадовалась такому вниманию главного врача и тому, что он запомнил сразу её имя.

Она даже в училище не часто встречала таких преподавателей.

– Вы ж из деревни, как я понял из личного дела... Курские соловьи... – Ей стало ещё приятней от таких подробностей, о которых помнит редкий руководитель. – У вас обязательно

всё получится. Люди, что живут в деревне, как никто знают цену своему труду. Мы ещё увидимся с вами не раз.

Он пошёл к выходу, а она растерялась, и забыла, что хотела сказать, и с трудом вспомнила слова благодарности, и прокричала не сильно громко уже вслед главному врачу, когда за ним захлопнулась дверь:

– Спасибо!

Ивана, надо сказать, тоже полюбили на работе. Ему достался старый деревянный маслозавод от предыдущей директрисы-хозяйки или, точнее, мастера и хозяйки – в общем-то, в добротном хорошем состоянии, но этот одарённый и талантливый фронтовик сумел сделать так, что завод зажил новой жизнью. Стали выпускать сыры, которые раньше не делали, – твёрдые и плавленые, разноразные, которые продавались только в больших областных городах. И тут же он показал, как можно на старом оборудовании выпускать сливочное разнообразное мороженое. Такое мороженое дети могли купить только в городе, конечно, не считая того, что завод и до этого, и сейчас продолжал выпускать качественное сливочное масло, но он показал, как легко делать и шоколадное, уж не говоря о сливках, сметане, брынзе, казеине, что завод производил раньше и производит сейчас.

Но вскоре его пыл охладили, заставив выпускать продукцию только согласно государственному плану, но где-то в верхах уже тогда восхищались и уважали талант Ивана и появились мысли построить новый завод в Бакурах с большими объёмами и с большим количеством квалифицированных работников.

Но первый секретарь райкома партии не унимался:

– Вы, товарищ, Шабалов, – делая ударение на последнем слогe.

– Шабáлов! – поправил Иван, переставляя ударение.

– Да, вы, товарищ Шабалов, в первую очередь коммунист. А только потом – Мастер маслозавода, и, заметьте, я произношу слово «мастер» с большой буквы. Мы уважаем ваш талант и вашу инициативу...

– И отправляете нашу продукцию в Москву! – Иван начинал заводиться, и его директор Виктор Степанович предчувствовал скандал, но разделял мысли своего подчинённого, радеющего за жителей всех регионов.

– Вы не можете оспаривать решение последнего пленума партии! – продолжал гнуть свою линию первый секретарь райкома, маленький, пузатый, с лысой головой человек, который не был на фронте, как считал Иван – отсиделся всю войну в тылу.

Ивану даже хотелось стукнуть кулаком по столу и закричать ему прямо в лицо: «Тыловая крыса!»

– Я вам приказываю, слышите, приказываю! – продолжал райкомовец. – Выпускать только то, о чём я не раз уже говорил.

– Во-о!.. Во-о!.. Во! – Иван сложил два кулака в фи́ги и, вытянув их вперёд, тыкал ими в сторону партийного руководителя.

Виктор Степанович, непосредственный начальник Ивана, взялся за голову, но первый секретарь предусмотрительно отступил, видя на пиджаке заносчивого Ивана боевые медали и ордена, среди которых были и два ордена Отечественной войны на колодке. Он знал, что награждение производится указом Президиума Верховного Совета СССР. Высшей степенью ордена является первая. У Ивана хоть и было их два, но каждый второй степени. Первый секретарь зло подумал, что тот не стал полным кавалером из-за своего вспыльчивого, неуправляемого характера, но награды надел для совещания в качестве сильного аргумента.

– Хорошо, давайте сбавим обороты! Погорячились мы все! Иван Акимович, вы мыслите в правильном направлении – в стране нужно больше производить пищевой продукции, расширять ассортимент, никто с этим не спорит. Но сегодня на заводе старое оборудование. Вам приходится затрачивать много времени, оставляете людей на сверхурочные работы. Вы же должны

понимать, хорошо понимать: сейчас не война – ситуация другая. Они начнут жаловаться, а мы не готовы платить им за фактически отработанное время. Нет денег на оплату по двойному тарифу. Статья по расходам на заработанную плату не резиновая! – но это уже говорил другой человек, который не был на фронте не потому, что уклонялся и прятался, а потому, что должен был руководить всей пищевой промышленностью Саратовской области, обеспечивать бесперебойную поставку продовольствия на фронт и во имя фронта, и он ни разу не сорвал планов, неукоснительно исполняя приказы и распоряжения Комитета обороны.

Совещание закончилось на нервной ноте, и директор Ивана с раскрасневшимся лицом в очередной раз внушал ему:

– Я когда научу тебя, чтобы ты хотя бы чуточку был мудрее?

Иван знал и помнил, что с директором его связывает большое трагическое прошлое. Перечить ему не стал. Директор как всегда был прав. К Ивану относился с уважением. Чувствовал перед ним свой долг. А Иван злоупотреблять своим моральным преимуществом считал нечестным и подлым. Это значило бы выкаблучиваться, как мародёр, считая жертву беспомощной ещё со времён войны, и Иван теперь, как с убитого, снимал с него кожу и делал уродливым трупом, а если он снимал кожу с живого, значит, оставлял его полностью беззащитным функционером перед микробами, бактериями и другими паразитами партии, строившими коммунизм.

...Иван и Зинаида обустроивали дом, где жила предыдущая хозяйка маслозавода. Оттого что дом был казённый, она его оставила государству, как только покинула место работы; была она не местной, приезжей и вернулась, как говорили, к себе на родину, в город Энгельс.

Наступила осень. Деревня покрылись разным ярким, радужным осенним разноцветьем. Жёлтым, красным, пурпурным, багряным. И не стоит заставлять себя перечислять все оттенки и цвета осени, которыми покрывается русское село. Ведь в картинах Левитана специалисты насчитывают более 50 оттенков только зелёного цвета. Осень покрывает всё вокруг таким разнообразием, которое наблюдают люди испокон веков и не перестают этому восхищаться.

Несмотря на все запреты, Иван продолжал в нерабочее время, чаще в выходные или даже ночью, и только с добровольцами на сэкономленном сырье или умышленно «рачительно сбережённом», производить другие сыры и мороженое, халву и шоколадное масло, конфеты и пастилу. Вначале он делал всё это без всякой выгоды и личной корысти для себя, если не считать своего тщеславия, которое переходило в болезненную черту характера.

Этим он тоже вскоре, вопреки открытому успеху Зинаиды, добился негласного признания и тайного уважения руководства, которое у него так и оставалось в Екатериновке Саратовской области, как бы на отдалении, а он – на выселках, что позволяло ему экспериментировать без специального на то разрешения. Все в районе и области знали о его проделках и серьёзно грозили пальцем, но задумывались ненароком, как сделать это богатство государственным проектом, пустить на поток и заполнить продукцией хотя бы близлежащие магазины, ведь знали, что почти ничего, что производит завод, не попадает на прилавки деревенских сельпо. Хотя сами сельчане в то время в молоке, масле и сметане не нуждались. У всех было своё подворье или почти у всех, не считая деревенскую интеллигенцию – учителей, врачей, фельдшеров, медсестёр, а с ними бабушку Калачиху и Калача, которые уже так сильно постарели, что не могли теперь сами заниматься хозяйством, а дети, стыдно сказать, их бросили.

У Зинаиды было всё просто: она работала не покладая рук, как в амбулатории, так и дома по хозяйству. Они завели с Иваном быка, двух поросят, ну а кур столько, что через несколько месяцев они и сосчитать их не смогли – за один заход в курятник собирали по большому ведру яиц. Но Ивану словно всё чего-то не хватало, он продолжал экспериментировать на заводе. Оставался по воскресеньям, по ночам. Приходил домой поздно или рано утром, и всегда подшофе. И радовался, что они что-то снова придумали и поэтому пришлось обмыть, чего больше всего Зинаида и боялась, она словно предчувствовала начало какого-то безумия и трагиче-

ского конца. Но всё это так быстро закрывалось перед её глазами, как будто кто-то захлопывал перед ней дверь и мысли останавливались и не могли развиваться в этом направлении дальше. Как любая женщина, она боролась против этого, насколько умела. Но стала поддаваться инстинкту материнства, который всё больше и больше начинал овладевать ею, и она боялась, может, только признаться себе и Ивану, что ей хотелось или, может, начинает хотеться родить ребёнка. И вся земная благодать и тепло бакурской деревни всё сильнее и сильнее обхватывали её и закрывали перед ней обычную рассудительность и здравый смысл сложного бытия и человеческого благоразумия.

– Ваня! Я давно хотела тебя спросить, – испуганно и настороженно она обратилась к мужу, – ты не хочешь детей?

Иван задумался, а потом, не скрывая боли, обиды и скрытой злости, брякнул:

– У меня их двое уже, и я не знаю, нужен я им или нет!

Зинаида больше не захотела говорить на эту тему, она решила, что выбрала для этого разговора не самое подходящее время.

Супруги обживались на новом месте, а деревня окружила их теплом, лаской и заботой – молодую семью, которую судьба оторвала от своих родных корней и бросила в то место, где им суждено было прожить недолго по меркам человеческой жизни или человеческой истории индивидуального сознания. Они проживут здесь примерно 12 лет, и это будет огромная, как вечность, целая жизнь, запечатлевшаяся на скрижалях благодатного места на земле.

К зиме Зинаида уже была с заметно выпирающим животиком. Они ждали ребёнка. На следующий год, в июле, Зинаида родила сына, и они назвали его Вовкой. Иван две недели пил и угощал друзей, поил всех на заводе, но те пили мало, но искренне и с душой поздравляли и улыбались. Иван поехал забирать Зинаиду с новорождённым из роддома на запряжённом в лёгкую летнюю коляску вороном заводском жеребце. И так неловко управлял им, что конь рвался в разные стороны, не слушался, не стоял на месте. Зинаида с трудом пересилила себя, чтобы под взглядами испуганных акушерок сесть в бричку и уехать с мужем домой, держа на руках грудного ребёнка. Она силилась и не могла понять: Иван действительно пьёт от счастья, о котором он ей говорил, поясняя рождением ребёнка, или это был просто очередной повод. А Иван, ловко прикрываясь этим, усмирять и умиротворять свою ненасытную душу законченного пьяницы, или ещё больше, в чём боялась признаться себе Зинаида, душу настоящего алкоголика, и она ловила себя на мысли, что разницы между этим не было никакой.

Ребёнок прибавил много хлопот. А Иван взял да ещё и расширил само хозяйство. Теперь у них стало 10 поросят, появился второй бычок, кур стало ещё больше, и он приобрёл к ним зачем-то индюков. И несмотря на всё это, он начал уходить в длительные запои, и Зинаида, имея на руках ребёнка, которого кормила часто и по часам грудью, должна была успевать содержать всё домашнее хозяйство. Она, привыкшая к сельскому труду, в конце концов замоталась и выбилась из сил. На руках у неё шевелился и чмокал губами совсем маленький человечек, которого ещё недавно она не могла и представить в их доме, в этой комнате, и уж вовсе не представляла, и не понимала, и не знала, как с ним правильно обходиться. Дуня стала в это время главным помощником, наставником, учителем, добрым другом и даже больше; Зинаида почувствовала, что сейчас ближе у неё никого нет, Дуня заменила ей опять родную мать, и Зинаида невольно вспоминала строгую Иду Александровну и желала ей мысленно крепкого здоровья. Своей родной матери Зинаида написала письмо, где рассказала ей о рождении сына, но умолчала о пьянстве мужа. Она написала ей только обо всём хорошем: что у неё есть работа, что живут с ними по соседству ещё две молодые семьи и что они замечательные люди. В их селе есть детский сад, ясли, большая школа. Она справляется по хозяйству. Целует и любит мать, передаёт привет сестре и брату и чтобы та за неё не беспокоилась. Зинаида всё успевает. Ей помогает Дуня, о которой она ей писала раньше, и они скоро приедут всей семьёй в гости, чтобы показать ей Вовку.

Но случится это не скоро. Зинаида просто хотела успокоить мать, чтобы та не срывалась с места и не летела к ней сломя голову. Дочери самой было трудно и тяжело понять, что происходит в её жизни, с ней и с её мужем и какую жизнь она себе избрала, и это было совсем ещё недавно, но об этом она не хотела писать и не могла.

Деревня летом была по-особенному хороша. Поочерёдно созревали овощи и фрукты, наливались свинцовой тяжестью антоновские яблоки, а белый налив давно уже опал, а анис ещё где-то редко висел на ветках. Ещё недавно гнулись ветви вишен и слив под тяжестью созревших плодов, что осыпались и падали на землю. Их клевали птицы и куры, потому что всего этого было так много, что далеко переполняло нужды самих жителей, а отвезти на прилавки городских рынков, как правило, было не на чем – не было транспорта и дорог.

Бакурчане умудрялись в средней полосе выращивать даже арбузы и дыни. А какие цветы росли в палисадниках, ухоженные и обласканные заботливыми руками хозяек! Иван часто приходил домой с цветами; Зинаида любила ромашки, но те не имели хорошего сильного запаха, и Зинаида улавливала, как правило, не запах цветов в руках Ивана, а стойкий перегар, а то и живой выдох уже привычного вонючего самогона бабки Калачихи.

Но в один из таких дней она почуяла среди пыльного запаха почти пресных ромашек и устоявшегося запаха самогона совсем новый, иной запах, который она, как любая женщина, спутать уже не могла ни с каким другим. Это был запах чужой ухоженной женщины с крестьянскими корнями, с запахом деревенского подворья, где смешивалось сразу всё: запах соломы и сена, молока из коровьего вымени, шерсти овец и перьев кур, переваливавшихся в земле и навозе.

Потом поползли слухи, и она узнала, что у Ивана есть другая женщина. Она ему ничего не сказала и не хотела говорить. Зинаида была нескладная, высокая, худая, с крупными чертами лица и маленькими треугольными глазками. А теперь, когда кормила ребёнка, ещё больше высохла, стала более худой, поэтому её крупные черты лица даже иной раз ей самой казались грубыми и некрасивыми. Ну что ж, думала она, вероятно, нельзя запретить мужчине любить и быть любимым. Учítывая, что она сама до сих пор сомневалась и не могла понять, какие отношения у них с Иваном – любят они друг друга или нет, особенно после того как он её беременную ударил ногой в живот. Ей казались и представлялись разные понятия о любви, и вообще, ей хотелось узнать – какая она, любовь, и нужна ли она для совместной семейной жизни. Но она всё-таки не утерпела и осторожно спросила Дуню об увлечении Ивана.

Дуня долго не хотела говорить, потом согласилась и пояснила:

– Рано или поздно сама узнаешь, и будет жалко, что со злого языка это сойдёт. Полина это. Вдова. Мужа твоего не уведёт. Кулугуры они. Живут и думают по-другому!

– А сама ты любила когда-нибудь? – Зинаида так сильно искала и хотела найти ответ на свой вопрос.

– Видно, любила, да ответить тебе на твой вопрос, что это и как оно бывает, не смогу. Я разную любовь видела, где и не подумаешь об этом, а нет, потом выясняется – любовь! Вот и разбери! – философски рассуждала Дуня.

– Да ведь же она, говорят, и душу, и сердце забирает, – допытывалась Зинаида.

– Вот-вот, как только она заберёт у тебя душу и сердце, тут и мозги изложет, где уж поймёшь, какая она, любовь, и вспомнить не сможешь. Знаю одно: что самое сильное и вечное – это ожидание любви или муки по любимому. Хорошо, если он жив останется, а то потом, чай, и не знаешь, о ком и почему сохнешь! – уходила Дуня от вопроса, тема которого ей не очень нравилась.

– Значит, я всё-таки любила! – сделала окончательный вывод Зинаида и на этом решила успокоиться.

Позже выяснилось, что Иван уже этой весной спас жизнь Полине в половодье, когда лодку её перевернула льдина. Наблюдал он за этим с берега, бросился в ледяную воду и полу-

живую вытащил на холодный заиндевший берег белокурую, пышную, с широкими бёдрами и узкой талией красавицу Полину, вдову, которая воспитывала двух мальчишек-сирот. Бакурчане за это уважали Ивана – за его бесстрашный характер, за бескорыстную натуру. Он спас бы любого, они в этом не сомневались. Знали, что если довелось бы оказаться на месте Полины каждому из них, он всё равно бы без тени сомнения бросился бы в воду спасать чужую человеческую жизнь, чтобы не опозорить и не погубить свою, хоть и порочную, как говорил он сам, но смелую душу, – говорили другие.

Бакуры раскинулись по двум берегам реки Сердобы, и поэтому во времена паводков здесь бывали всякие курьёзные случаи. На левом и правом берегах размещались жилые дома и цеха производственных помещений, колхозные и совхозные постройки. А жители могли иметь дом на одном берегу, работу на другом, но не прийти на работу даже во время паводка они не могли, никто не мог, начиная от детей и заканчивая взрослыми, хотя сталинский режим и пресловутая сталинская дисциплина давно канули в Лету. Нельзя объяснить и понять русскую душу, когда детишки переправлялись на надувных резиновых баллонах от грузовиков, комбайнов, тракторов, заклеив одну сторону колеса в виде дна, и всё это с разрешения и наставления родителей. Они преодолевали сильное течение вихревых движений паводка, среди льдин и торосов добивались до другого берега, потому что не могли не прийти в школу.

Все удивились, когда в дверь вошла четвероклассница Ася, и Анна Тимофеевна спросила у неё:

– Откуда ты, дитя моё?!

– Простите, я немножко опоздала. Я на надувном баллоне переправлялась, – лепетал нежный детский голосок. – А мой папочка говорил, что они в своё время на плоту переправлялись, лодку могло легко перевернуть.

– Как?! – Анна Тимофеевна не могла прийти в себя после услышанного.

Она куда-то вышла и побежала, потом долго звонила на электростанцию, хлебопекарню – все они были на другом берегу; наконец, дозвонившись до родителей Аси, предупредила их, что девочка будет жить у неё до конца половодья.

Это потом уже поняли, что в это время нужно объявлять каникулы. А через много лет построят большой мост. И когда весеннее наводнение затопит все естественные подъездные пути, то этот огромный, перекинувшийся с одного берега на другой, как коромысло, мост станет символом надежды на лучшую жизнь. А на самом деле станет тяжким предзнаменованием, как деревня начнёт гаснуть и умирать, словно стоя на мосту своего ожидания – гибели и вымирания – то ли по вине затурканных руководителей, которых взрастит и воспитает коммунистическая партия, то ли это историческая закономерность всего русского уклада жизни. Но это время не коснётся сейчас наших героев, и мы не будем пока на нём останавливаться.

По-своему наш Иван любил деревню такой, какая она есть. Дуня в этот раз рассказала, как называют в народе улицу, что была первой от маслозавода, на которой жила сама Дуня. Называли её Кобелёвкой. До сих пор ходят на этот счёт разные слухи: кто-то говорит, что лай собак с этой улицы заглушал пение петухов, а другие бабы, те, которые жили на следующей улице, и её называли в народе Орловкой, ехидно подшучивали:

– Ваши мужики, как кобели, по всей деревне бегают к вдовам...

Но, обруганные и обиженные, первые бабы за своих мужиков заступались единым фронтом и философски замечали:

– Ваши, как орлы, по деревне летают. Завидуют нашим. Потому что сами уже давно ничего не могут. Даже яйца не несут и птенцов не высидывают; чтобы не позориться, стали себе чужую орлиную гордость приписывать...

Дуня была мудрым человеком. Всё, что она говорила Зинаиде, не было случайным. Как родная мать, она пестовала малыша и ухаживала за ним, помогала Зинаиде и в других делах по хозяйству. Она пыталась, умудрённая опытом своих лет, втолковать молодой женщине цен-

ность самой жизни как единое целое, что живёт в самой женщине и даёт ей право думать и понимать саму жизнь больше, чем мужчине. Потому что она созидает жизнь, и она уже дала жизнь ещё одному человеку – своему ребёнку, и это был уже человек, и звали его Вовкой. Дуня сейчас думала и о нём, и о других детях всех матерей на земле.

Вовка был бутуз, родившийся на четыре килограмма и 600 граммов, пухлый, с перетяжками на ручках и ножках, розовощёкий, громкоголосый и необычайно близкий, родной и нужный Зинаиде человек.

Да, Иван в это время, пожалуй, влюбился. Но если не спешить с выводами, скорее увлётся, но так сильно, что ничего поделаться с собой уже не мог, его притягивала к себе и привлекала та самая Полина, которая жила среди кулугуров. Кто они и кем они были, эти кулугуры, Иван не знал да и знать не очень хотел, а если это связано как-то с вероисповеданием и религией, – тем более ему, Ивану, освободителю страны Советов от фашистов, бывшему офицеру и честному коммунисту, а в партию он вступил на фронте, было это чуждо.

Вступление в партию было для него одним из самых сильных потрясений, событием необъяснимых совпадений, но лишённое иллюзий и идиллий собственного праздного подсолнечия. В сорок втором году им пришлось на время отступить со своих позиций, чтобы не оказаться в окружении, но грузовики, к которым зацепили пушки, немецкие танки расстреляли легко, как мишени в тире, и все четыре пушки остались тогда лёгкой добычей врагу, потому что перетащить их на своём горбу было невозможно. Из офицеров на батарее остался он один, оттого что его все берегли и приговаривали:

– Успеешь ещё, навоюешься! Войны на тебя хватит!

Ему нужно было принимать решение, что делать дальше, – решил сохранить людей и вывести их живыми, особенно наводчиков как ценных специалистов, которых сам лично натаскивал на точную прицельную стрельбу по танкам. Он вышел, не попав в окружение, но без пушек; война есть война, поставили, как говорили в то время, к стенке, приказали расстрелять. Что его тогда прорвало, он не сможет объяснить всю жизнь, и эту историю он будет рассказывать всегда с новыми подробностями, но главная суть её была в следующем. Он встал, как герой, растопырив руки, пока не успели расстрелять, и красивым голосом, как у Левитана, а он мог подражать ему один в один, стал говорить, так что у бойцов спецотряда сначала отвисли челюсти, а потом опустили и концы стволов винтовок:

– Я воевал за Родину! За Сталина! За партию! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!

Дальше эту историю рассказываем только со слов самого Ивана, здесь он её рассказывал всегда одинаково: якобы тут проезжал в своей машине сам главком Жуков, услышал и увидел, как говорит «Левитан», не поверил своим ушам и подошёл к Ивану в тот момент, когда его должны были расстрелять.

– Как провинился, лейтенант? – спросил Григорий Константинович.

– Пушки на себе унести не могли, зато людей вывел всех с батареи. Живыми. Все вышли. Наводчиков ни одного не потерял! – Иван торопился изложить суть, чтобы успеть, пока не расстреляли.

– Сколько лет тебе?

– Шес... – «шестнадцать», хотел сказать Иван, но вовремя остановился: вряд ли пройдёшь кого в военное время, находясь в его положении, сразу передумал и соврал: – Восемнадцать, товарищ главнокомандующий!

– Значит, после офицерских курсов? – подметил Жуков. – Как окончил?

– С отличием, товарищ командующий. Каждого наводчика лично обучил, воробья на лету собьют! – Тут уже прихвостнул, потому что в душе всё равно оставался ребёнком.

– Давай! Покажи! – командующий фронтом подвёл его к придорожной пушке и ткнул пальцем в подбитый немецкий танк метров за двести. – Сможешь?

– С завязанными глазами, товарищ Жуков!

– Как узнал? – удивился Жуков.

– У меня пятёрки по всем предметам были! – тут уж Иван утерпеть не мог.

Боец из его батареи быстро подбежал и завязал Ивану глаза чёрной тряпичной лентой. Иван несколько долго наводил ствол пушки в сторону немецкого танка, так что даже командующий стал за него волноваться и переживать.

– Может, снять повязку? – настойчиво спрашивал Жуков.

– Лучше расстреляйте, товарищ командующий! – бравировал Иван.

Он произвёл выстрел и уложил снаряд тютелька в тютельку по центру неподвижного фашистского танка. Жуков похлопал по плечу Ивана и сказал:

– Теперь точно знаю, фашисты не пройдут! – Повернулся ко всем остальным и в форме приказа отрубил: – Расстрел отменяю! Берегите людей как зеницу ока! Люди нам сейчас важнее! А пушки наделаем! Батарею укомплектовать! А мальчишку... – Потом поправился: – А лейтенанта, который говорит, как Левитан, принять в партию!

...В Бога Иван не верил, и дома у него сейчас, это в Бакурах, лежала большая толстая книга в хорошем плотном переплёте с затёртой зелёной обложкой – «История Коммунистической партии Советского Союза». Вся книга пестрила пометками на полях, подчёркнутыми строчками. Иван изучил её от корки до корки, с собственными рассуждениями. Эта книга давно уже внушала ему стойкий и ни с чем несравнимый атеизм. Но он не мог скрыть того, что кулугуры ему всё равно чем-то нравились. Дворы у них были всегда чистыми. Скотина ухоженная. Работали они от зари и до зари. Дома у них были большими и добротными. Но что Ивана больше всего удивляло, и он не мог этого понять, как они не пили спиртного и даже не курили. За это он их не мог полюбить до конца, но это было у них с детства, с самого рождения и до самой смерти. Рождались дети, и они праздновали это событие без водки. Умирили родственники, и они плакали и горевали, но водку не пили. Вот тут Иван терял нить своей ненависти. Он не мог не уважать приверженности к своему устоявшемуся, непоколебимому быту и сохранять всю жизнь, как клятву, которую и сам Иван давал на фронте, принимая присягу и вступая в ряды партии. А они, кулугуры, как клятву, несли всю жизнь трезвый образ жизни, что никак не укладывалось в голове Ивана как человека русского, каким он себя считал. Но чтобы не выпить всю жизнь ни капли спиртного, этого он не мог понять и считал, что это не может уложиться в голове любого такого же, как и он, человека. Хотя кулугуры тоже были русскими, но в их речи никогда не было русского мата – тут уже Иван отказывался что-либо понимать вообще.

Всё поселение кулугуров было похоже на чистый свежий оазис добра и покорного смирения.

Полина заполонила всю душу Ивана, наполнила его сердце и неутомимую натуру. И при этом она боролась сама с собою, горько обвиняя себя в плохом, постыдном явлении, неестественном для её жизни и веры – увлечением женатым мужчиной. Она испытывала к Ивану не простые чувства, а смешанные, переполненные грехом и страстью, словно чёрным и белым, словно посыпанные с одной стороны мелом, а с другой – сажей. И всё казалось таким сложным и несоизмеримым. Она не могла понять, почему её не осуждали и не упрекали собственные дети и люди, с которыми она имела одни убеждения и веру, смысл жизни их совместного бытия, пряталась вместе с ними от насмешек и издевательств, похожих на них людей. Это те люди, которые словом «кулугуры» пользовались как ругательством и порою сторонились их, как прокажённых, а теперь она была уверена, что любила одного из них.

Однажды они поздно вышли из кукурузного поля и пошли по берегу вдоль реки. Было тепло, и Иван решил проводить Полину хотя бы до того места, где речку переходят вброд. Они не ожидали, что им попадётся голубятник Степан, который водил много домашних голубей, но собрался в эту ночь на горбатый мост, чтобы на утренней заре порыбачить, и, завидев Ивана,

да ещё с Полиной, он слез с велосипеда, повёл его в руках, а поравнявшись с Иваном, ехидно спросил:

– А что, Ваня, – он не работал на заводе, поэтому мог позволить себе называть его по имени, без отчества, – раз мужа нет, разве грех её уважить? Не важно, что кулугурка – не инопланетянка же?!

Зря Степан упомянул кулугуров. Иван взял его за грудки, посадил на велосипед и спустил с высокого берега реки, а на этой стороне он был не только высоким, но и обрывистым. Велосипедист нырнул в реку – рыбалка у Степана не задалась. На обратном пути Иван видел, как Степан сидел на другом, пологом берегу и пытался выпрямить колёса.

– Помочь? – прокричал Иван.

– Нет уж, Иван Акимович, уже помогли. Благодарствуйте!

В другой раз Иван целовал Полину от пяток до головы и говорил:

– Зацелую тебя, «прокажённую», до смерти.

И среди огромного кукурузного поля, что раскинулось на том же берегу, где жила Полина, они лежали вдвоём на большой копне сена, что специально завёз сюда Иван и свалил посреди толстых стеблей злака с крупными съедобными жёлтыми зёрнами, собранными в початок. Раскинув руки, они не стыдились своей наготы и смотрели в чистое синее небо, которое куполом возвышалось над Бакурами. Облака, как лёгкая гладкая пелена, как шёлковый газовый платок или как огромные куски ваты, освещённые лучами ещё тёплого осеннего солнца, проплывали над ними.

Иван тоже испытывал двойное чувство: он знал, что никогда именно ради неё не бросит жену, и дело было даже не в том, что у них сейчас с Зинаидой появился ребёнок, но он знал, почему им никогда не жить вместе с Полиной. Но что им двигало в эти минуты, когда он терял голову, рассудок, здравый смысл, самообладание, тонул в сладком пышном теле Полины с чистыми жёлтыми соломенными волосами, он не знал. Соски её груди напрягались. Она стонала и текла, как речка, омывая тело Ивана чистой, свежей, бархатной, слегка липкой слюной безрассудства и упоения. Живот у неё был ниже округлых бёдер. Он утыкался в него лицом, целовал его и плакал. Словно он опускал голову в нескончаемый и неудержимый источник жизни, который каждый день, как солнце, восходит и заходит, отмеряя дни и ночи, как годы человеческого сознания, пребывая на земле отцов и дедов, где они оставляют свою жизнь в новой череде своих детей и внуков.

Всё закончилось неожиданно легко и быстро. Полина стала избегать Ивана, сторониться его. Не отвечала ему на чувства, стала словно чужой. Она ничего не говорила, молчала, лишь однажды в узком проходе предбанника он застал её нечаянно, полуодетую, она после смены приняла душ и собиралась домой.

– Полина! Что ты со мной делаешь?! – он упал перед ней на колени, и целовал её в длинные, как рейтузы, трусы, и, схватив двумя руками такой же белый лифчик, потянул его вниз на себя. Она прижала свои пышные груди, чтобы не дать стянуть бюстгальтер, и искренне, с надрывом простонала:

– Ваня! Уймись! Ваня! Уймись! Не надо!

В это время кто-то открыл дверь и крикнул:

– Полина! Скоро ты? – Это была её подруга Валя. – Ой! – вскрикнула она, увидев Ивана, и убежала.

Иван понял, что дальше он не сможет сдерживать себя, опустил руки вниз и поднялся с колен:

– На войне я бил морду своим солдатам, которые насиловали женщин. Сегодня я один из них, а бить меня некому. Да и судить не станут – барин я здесь, понимаешь?

Полина испуганно смотрела на него и чувствовала полную незащитность, но была уверена, что Иван, герой войны, сирота, никогда не поступит с ней так...

– Да, я уйду, но никогда не поверю, что кто-то другой любил тебя так, как я! – и он вышел, резко захлопнув дверь бани.

Полина опустила на лавку, потому что ноги её не держали, и тихо горько заплакала.

Их отношения прекратились. Она вернулась в свою прежнюю жизнь, к своей вере, к чистоте своих чувств и отношений с мужчинами.

На заводе все зароптали, заговорили, потому что вроде было уже можно говорить о любви начальника, раз любовь эта кончилась. Все ждали, как поступит Иван, некоторые даже спорили, что он выживет её с работы или даже грубо выгонит Полину с завода, уволит за любую маломальскую провинность, найдёт для этого всего лишь удобный повод. Но Иван даже и не думал об этом. Он ушёл в сильный недельный запой, а потом решил ближе познакомиться с соседями.

Рядом с домом, в котором они жили с Зинаидой, стоял точно такой же дом, поделённый на две половины. В одной из них жила семья Сиротиных: Пётр и Нюра, а во второй – дальней от Шабаловых – недавно поселились Касьяновы, и Нина, жена Михаила, была у Ивана на заводе его первым заместителем, а Пётр – главным механиком. Вот так они познакомились, сначала на работе, а потом сошлись уже дома за общим застольем и подружились: что ни говори, всё-таки соседи, да ещё и сослуживцы по работе, да не просто сослуживцы, а «элита», как любил повторять Пётр:

– На нас весь завод держится!

– Без рабочих мы как без рук, – решил поправить Иван.

– Но без головы руки работать не могут! – самонадеянно протестовал механик.

– Ты бы, Пётр Тихонович, не заносился слишком! – вмешалась Нина.

– Нет, Нин, ну ты пойми: где я и где они, – злорадно выплюнул Пётр.

Разговор был мимолётным, Иван его поддерживать не захотел, знали они друг друга мало, и делать преждевременные выводы не хотелось – слишком рано.

Сам Иван хотел дружбы и тёплого общения с ними, своими соседями. Но пройдёт время, и они станут заклятыми ненавистными врагами, а Пётр и Нина сыграют очень злую роль в судьбе безродного и чужого для Бакур Ивана Акимовича Шабалова.

Пётр был из местных, недалеко от них жили его родители, уже состарившиеся, они имели большой красивый дом, как терем, огород, подворье с разной скотинкой и птицей, и Пётр к тому же работал на заводе уже до приезда Ивана. Конечно, помогал своим родителям. И всё, что у них сейчас было, и этого в деревне нельзя скрыть – чтобы старики успевали всё сами, – было отчасти благодаря Петру, который утвердил своё положение на маслозаводе, пользуясь привилегиями и хорошим отношением к себе предыдущего начальника завода – это была одинокая бездетная женщина. Она прожила всю жизнь на работе, как говорили о ней теперь рабочие. И благо Пётр, как утверждали злые языки, скрасил ей последние годы жизни в селе, и даже зубы скалили: мол, тёр он ей спину мочалкой в заводской бане поздно вечером, а то и ночью, когда завод уже не работал, оставался только кочегар, он же сторож. Пётр умышленно в эти дни брал на себя обе эти функции и публично бахвалился потом, что он не боится физического труда и любых бандитов; кто вздумает обокрасть завод, лично переловит. Тогда один из присутствующих пошутил:

– А кто же от вас-то завод стеречь будет? Вы же сразу заменяете и кочегара, и сторожа! – это говорил пожилой кузнец, которому работа на кузнице стала уже не по силам; а в это время ходили слухи о механике, что он масло с завода по ночам ящиками таскает, а старая любовница директриса закрывает глаза на все его проделки.

Шутка бывшего кузнеца на маслозаводе была последней – уволили его по старости.

Зинаиде не понравилась худая и злая, как она определила, Нина Касьянова. А муж её Михаил – худой и постоянно кашляющий («Наверняка переболел туберкулёзом», – подумала она сразу ещё при первой встрече).

– А вы не пробовали, Михаил, лечить свой кашель? – проявила свою заботу Зинаида.

– Ой, Зинушка, чем я только не лечился: жир ежей, сурков, собак, с трудом достали медвежий жир – нет уж, старые рубцы никуда не денешь.

– Вы туберкулёзом болели? – Зинаида хотела помочь.

– А разве вас не учат врачебной тайне? Простите, вы же фельдшер! – съязвила жена Михаила.

Нюрку Сиротину в деревне звали Кнопкой, это Зинаида уже знала до знакомства. Прозвище у неё было, наверное, потому такое, что она была маленькой и толстенькой, особенно на фоне Петра – высокого, красивого, с русоволосой шевелюрой, с прямым ровным носом. Пётр чем-то чуть-чуть был похож на отца Зинаиды, о котором она часто вспоминала, и, может, теперь больше, чем обычно, потому что жизнь с Иваном становилась всё тяжелее и тяжелее.

Над Нюркой, как и над Петькой, тоже подшучивали, но он никому здесь не мстил, потому что считал, что невольно в шутке содержалась его мужская сила.

– Нюр, слышала, чай: директриса-то забеременела. А мужа у неё нет! – хихикали заводские бабы.

– Если вы на Петеньку моего намекаете, не дивитесь – он всем поможет! – утыкала она их, и они понимали, что она имела не только острый язычок, оттого и Кнопка, но у неё был и тонкий, сообразительный ум.

Соседями Шабаловых оказались те люди, которые тоже пили, но пили мало, а закусывали много и сытно, ели часто, а пили всегда не до конца, шумно веселились, смеялись над любыми шутками и анекдотами Ивана, свой любимый анекдот он не забывал никогда, чтобы не рассказать его.

Выходит Жуков от Сталина злой и говорит:

– Чёрт усатый!

Сталин услышал, возвращает Жукова и спрашивает:

– Вы кого имели в виду, товарищ Жуков?

– Гитлера, товарищ Сталин! – отвечает Жуков.

Все смеялись, но Зинаиде казалось, что делают они это неестественно, наигранно, чтобы угодить Ивану, потому что он был их начальником.

Зинаида не пила, она не пила совсем, она никогда не станет и никогда не научится пить спиртное, и уводила она сопротивляющегося Ивана с гулянок с большим трудом. Она боялась и переживала, что однажды Иван скопытится, и упадёт пьяным поросёнком в гостях, и захрапит на всю вечернюю или ночную округу, будоража деревенских собак и петухов.

К тому же Зинаида давно заметила, что Пётр смотрит на неё не совсем так, как смотрят на простую соседку, что он смотрит на неё игривыми масляными глазами, раздевая взглядом, будто предлагая и располагая своими намёками мартовского кота к более близким и «доверительным» отношениям, что, конечно, никогда не нравилось Зинаиде.

Они все были молодыми, как Зинаида, только Иван с Михаилом оказались старше их всех.

Михаил работал в скобяном магазине, и жена его Нина ни разу не попросит Ивана взять его на маслозавод, где бы он был в тепле и всегда сытым на сметане. Видно, правильно определила Зинаида, что у него был туберкулёз лёгких. Боялся, что не пройдёт медицинскую комиссию на маслозавод. Магазин этот открыли сразу после революции именно в том доме, где, по преданиям, квартировал сам Котовский. С той поры дом не сильно изменился, именно туда приходила к нему красивая молодая, с раскосыми миндалевидными глазами Дуня.

Вот так жизнь шла, а скорее непрерывно текла, не оставляя зазоров между шагами. Бакурские петухи каждое утро надрывно кукарекали, заливаясь петушиным пением, оповещая жителей о начале нового дня, каждый день перелистывая страницу за страницей жизни всех сельчан, в том числе и новых соседей, живших в двух отдельно стоявших домах, почти

возле самого маслозавода. В преддверии трагедии, которая разгорится в этих местах, вспыхнет и перекинется вниз по реке и оповестит всех жителей городов и сел, что жизнь и смерть всегда ходят рядом, как добро и зло, никогда не покидают друг друга.

Круг знакомых и друзей у Зинаиды с Иваном рос очень быстро. Как-никак, а Иван в своей профессии мог больше, чем подразумевалось самой правдой жизни. Именно тогда, в те самые времена, и появились в деревне или, точнее, стали появляться те отношения, о которых давно уже забыли, особенно в сталинские времена. Мог Иван достать и привезти несколько тонн зерна, чтобы кормить своих кур, а в обмен списать несколько тонн молока, которые якобы принял, а на самом деле провёл только по бумагам. Вот, наверное, тогда появилась та ржа, которая начнёт разъедать пресловутый социализм и разъест его, как мы уже знаем.

И Зинаида это тоже увидит и узнает. В больнице, где мы её оставили, она слушала сводки с боевых действий в Луганске и Донецке – шёл 2015 год, и потом она будет слышать и видеть и дальше то время, в котором ей предстояло ещё жить.

Познакомится Иван с председателем колхоза Василием Ивановичем Курбатовым, человеком неординарным и удивительным. Жил он тихо и скромно. Был колхозным самоучкой. Старался всю жизнь обогнать совхоз. В Бакурах было одновременно два хозяйства: и колхоз, и совхоз-миллионер. Разницу между ними Василий Иванович так и не поймёт за всю свою жизнь. Был он неграмотным. Ходили об этом слухи, что он даже не мог читать, а доклады к выступлениям в районе ему писала жена, а потом начитывала вслух, и с её слов он запоминал их наизусть, а затем читал их с трибуны, создавая вид, что читает с листа. Было это правдой или нет, Иван так и не узнает. Но уважал он Василия Ивановича за хватку крестьянскую и натуру самобытную, видел сам, как тот садился голым задом на пашню и определял температуру земли распаханых полей, после этого давал команду – сеять или ждать. Удивлялся не раз Иван тому, как любят русские свою землю, но делают это порой через пень-колоду, если не сказать хуже – через ж...у, в прямом и переносном смысле этого слова. Неужели, думал он, до сих пор нет грамотных агрономов, чтобы замерить нужные параметры земельных угодий, научиться выращивать урожай, как за границей? Но тут Иван останавливался, придерживал свои размышления и задумывался: а ведь у Василия Ивановича урожай были даже больше, чем у всех остальных, и даже заграничных. Вот и пойми здесь душу русскую и председателей-самоучек, ведь именно его, Курбатова, хотели представить к званию Героя Социалистического Труда, но не сложилось: был у него один грешок, о котором не говорили вслух, да и понять этого никто не мог. Сам Василий Иванович не пил, не курил, до баб охотником не был. Жил со своей «дуэньей» много лет в ладу, в миру и смирении. Но на кой ляд привёз он откуда-то после войны, хотя у него была бронь, девочку-сироту и воспитали они её вместе с женой в видную, можно сказать без патетики, светскую даму? Высокая, с красивым бюстом, деревенские бабы ёрничали, что она, мол, конский волос в грудь вшила, потому она у неё так и стояла, что даже лифчик не носила.

Похожая на амазонку, с широкими плечами, узким тазом и волосами до поясницы, она была бесстрашная, на коне могла проскакать не хуже опытного наездника и свалить с ног на землю любого деревенского парня. Девки над этим даже смеялись. Лицом тоже была красивая – глаз не оторвёшь. И поняв всё это, работать в колхозе у Василия Ивановича она отказалась наотрез, а парня под стать ей не было тогда вообще в деревне, да и в округе на тысячу вёрст не сыскать. Но была у Василия Ивановича заимка, доставшаяся ему с далёких давних времён, которую обустроил когда-то живший здесь барин. Кругом был лес, как непроходимые дебри, а среди них – красивое голубое озеро, заполнявшееся бежавшим с горы ручьём. Он, как маленькая горная речушка, бурлил зимой и подо льдом и заполнял светлой, чистой как слеза водой, озёрную чашу, на дне которой из-под земли били горячие, как гейзеры, ключи. Озеро не замерзало и зимой, а покрывалось неширокой ледяной коркой по краям и парило, затума-

ниваясь в морозные дни лёгкой розовой дымкой, и тогда Ивану приходили на ум строки из стихов Есенина: «Всё пройдёт, как с белых яблонь дым...» Розоватый оттенок происходил в тумане озера от красных гроздьев рябин, окружавших ближнюю заводь в этих местах.

В те, уже давние времена живший барин понял, что мельница здесь будет молотить зерно круглый год. Так и решил: построил тут водяную мельницу. Потом соорудил вокруг огромные бревенчатые избы, и хранилища для муки и зерна, и даже небольшую, до сих пор действующую хлебопекарню. И хлеб отсюда для деревенских детишек был особым лакомством, сдобным и пахучим. Замешивали муку на родниковой воде, а печь топили хвойными и рябиновыми ветками. Тогда, ещё до революции, превратилась заимка в сказочный красивый уголок, которую барин прозвал Швейцарией. И стала эта «Швейцария» переходить из рук в руки колхозных бонз. А потом и вовсе превратилась в тихую любовную заводь для лихих мздоимцев, куда привозили разных председателей и членов комиссий, следователей, боровшихся с расхитителями социалистической собственности, пожарных инспекторов... В общем, всех проверяющих, кто не мог и не умел зарабатывать на свою жизнь честным трудом, а тогда это только подворье: бычки, свиньи, пчёлы – то есть тяжёлый труд домашнего хозяйства. А время сталинской эпохи отдалялось всё дальше и дальше, и стали забывать нечистые на руку начальники, что было бы с ними ещё совсем недавно, не более как одного десятка лет назад.

И вот в эту сказочную страну, где хранилась тишина, которую нарушал только скрип мельничного колеса, вращающегося силой бегущей воды из ручья, и поселил Василий Иванович свою приёмную дочь, чтобы следила за порядком, готовила поесть для разных гостей и «правильно» их встречала.

Здесь и попал Иван снова как лис в курятник, а точнее, туда, где смогли бы жить павлины, а тут – пава неопикуемой красоты. Плавала она ранним утром по голубоватому озеру обнажённая, словно русалка из народных поверий и сказок, и легко заигрывалась на воде, не подбирала под себя огромную косу, распускаясь в широкую густую прядь волос, через которую словно проглядывал рыбий хвост.

Не смог Иван, не сдюжил, да и не хотел скрывать своих чувств, догадался, зачем привёз его сюда хитрый председатель колхоза. И началась старая эпопея Ивана с новой русалкой, где он опять много пил и упивался телом и душой несравненной грешницы и блудницы, будто из другого мира по своей красоте.

– Как ты живёшь здесь одна? Скучно же! – поинтересовался Иван.

– Я не люблю людей, они всё время завидуют! – не скрывая своих тяжёлых чувств, отвечала та.

– У тебя есть чему завидовать. Красивая сильно! Замуж бы выходила!

– Найди мне жениха, может, и выйду! – сказала она и хлопнула рыбьим русалочьим «хвостом» по водной глади.

– А за меня пойдёшь? – то ли в шутку, то ли всерьёз спросил Иван.

– Нет! – она говорила серьёзно.

– Почему?

– Ты никогда с одной женщиной жить не будешь. Будь она любой красоты...

– Ну отчего же ты так думаешь?

– Самец ты с больной израненной душой. Никому не веришь, потому и пьёшь много. Начал пить мальчишкой, потом бросал. Но алкоголь стал нравиться, потому что успокаивал тебя, как лекарство. Он наркотик. Пока об этом люди не говорят, но придёт время – скажут!

– Откуда такие мысли в прекрасной голове? – удивился Иван.

– Когда человек живёт один, на природе, ему не с кем поговорить, как только с богом!

– Об этом мне не говори, бога нет!

– Для тебя – нет, и для меня – нет. Грешная я! А он есть. Мне он говорит, чтобы я тебе сказала: если пить не бросишь, умрёшь рано!

Иван встречался и после с отчаянной дивой, но почему-то боялся её.

Зинаида в это же время познакомилась и подружилась с двумя известными в деревне портнихами Тоней и Фросей. Жили они около реки, их дом был первым, но никогда в половодье его не заливало, стоял на высоком зелёном холме, а улица была та самая, что Кобелёвкой в народе прозвали, только жили они по другой стороне этой улицы, где жила и Дуня. А насыпь для дома сгрёб им местный тракторист Силантий, он тогда в Тоню был влюблённый. Когда война кончилась, мужья их, два брата-близнеца, не вернулись с фронта, тоже трактористы, а на войне танкистами были; похоронки пришли поздно, что сгорели они всем экипажем при взятии Берлина. Остались у них два дома, тоже как два близнеца, на горе, возле колхоза стояли. Вот их Тоня с Фросей решили разобрать и из двух сложить один прямо у реки, чтобы слёз их никто не видел никогда («Чтобы в реку сразу стекали», – говорили они), и жить вместе в память о своих незабываемых героях Матвее и Сене. Силантий им разобрал дома и сложил в один, тоже красивый, а чтобы в половодье не затопило, всё лето холм бульдозером сгребал да утрамбовывал. Вода подходила к дому, бурлила, кружилась, пенилась, но в дом попасть не могла. Тоня замуж за Силантия не пошла. А потом заплакала и сказала ему тихо и коротко:

– Не могу я!

Силантий обиды не затаил, наоборот, ещё даже жену свою, когда женился на другой, приводил к портнихам, чтобы Тоня и Фрося обшивали её, а сам лишний раз на красоту Тонину посмотреть хотел.

Зинаида слышала об этой истории всё от той же Дуни. К портнихам ходить сама стала часто. Шили они хорошо и аккуратно. В деревне их многие знали, перебоев в работе у них не было. Однажды только поход к портнихам огорчил Зинаиде душу. Подросший Вовка намазал сливочным маслом большой кусок белого хлеба и пошёл к портнихам встречать мать. На пути его вырос чёрный пёс по кличке Баско, очень похожий на собаку Баскервилей из детективной повести Конан Дойла. Баско был смесью волка с овчаркой. Жили Баскаковы, хозяйева пса, в соседнем переулке, по которому Зинаида ходила на работу, а Вовку водила в детский сад, а к портнихам был ближний к реке переулок, через двор родителей Петьки Сиротина. Как эта огромная собака оказалась рядом с домом Тони и Фроси, никто увидеть не успел. Вовка и Баско стояли друг против друга, а Зинаида, не помня себя, бросилась на пса, как на врага, спасать и отбивать сына. А звериное чудовище аккуратно ткнуло мокрым носом с Вовкиной руки кусок хлеба, намазанный маслом, который как будто повис в воздухе, а пёс, поймав его, пропустил через здоровенную чёрную пасть, пожевав чуть-чуть, проглотил, и медленно ушёл.

Зинаида держала Вовку на руках, прижимала к себе, целовала его в щёки, не вытирая собственных слёз, и думала: когда же сын успел вырасти, что стал приходить встречать её? Она давно уже обратила внимание, что деревенские ребятишки взрослеют рано, быстрее растут, становятся самостоятельными, трудолюбивыми и шустрыми не по годам – такими их делают сельская природа и тяжёлый крестьянский труд. Сыну Зинаиды что-то тоже перепало от этого. Но Вовка всё равно был хилым, и мы пропустили много лет из его жизни, которые Зинаида потратила, чтобы выправить и восполнить здоровье своего дитяти. Поначалу он казался нормальным, толстеньким и здоровеньким крепышом, родился ведь с большим весом, представить трудно, какой здоровяк, и вдруг он начал бесконечно болеть, и каких только болезней у него не было: корь, скарлатина, ветрянка, коклюш... От ветряной оспы у него останутся на всю жизнь щербинки на коже лица. Его ослабленный, а может врождённый, иммунитет не давал покоя никому. Если в яслях и потом в детском саду заболел хоть один ребёнок любой детской болезнью или обычной простудой, то вторым, на другой же день, а иной раз и почти сразу, становился болен этой же болезнью несчастный Вовка.

Дуня обижалась на Зинаиду, что та отдала ребёнка в ясли, а потом и в детский сад, ведь Дуня могла быть ему хорошей нянькой, даже, может, заменить ему родную бабушку, которая не могла приехать. Но Зинаида стеснялась сказать заботливой Дуне, что Вовка слабый на здо-

ровые, вдруг начнёт отставать от своих сверстников по уму, а в большом коллективе детей он станет развиваться вместе с ними, а сами ясли и сад давали ему подготовку для развития, что предусматривалось самой учебной программой этих заведений. Но вскоре выяснилось, что у Вовки ещё и рахит, выглядеть он стал ужасно: у него была большая голова, большой живот, маленькая грудь и кривые, как колесо, ноги. Кто-то даже смеялся, что он скорее появился на свет не от артиллериста, а от кавалериста. Поэтому когда его хотели сфотографировать в полный рост, то обязательно фотографировали с игрушечным картонным конём на колёсиках. Когда Вовку ставили за коня, пряча его ноги, – а лицо у него было по-детски хорошим, – то он производил впечатление милого ребёнка. Зинаида и Иван хорошо понимали всю тяжесть, что выпала им на долю со здоровьем сына, и делали всё возможное и невозможное, чтобы отвоевать у природы жизнь и здоровье своего ребёнка. Они уже потеряли счёт, сколько пузырьков и флаконов выпили сами, чтобы уговорить Вовку пить этот противный рыбий жир: «за маму, за папу, за Дуню». Вовка морщился и пил его, чтобы стать сильным. Думаем, что это поймёт каждый, кто рожал и растил детей или видел это у родных и друзей, на чью долю выпало счастье и горе рожать и растить детей, а вместе с этим зачастую бороться за жизнь и здоровье своего чада.

Вовка стал воспитанником яслей, потом детского сада, и таскала его туда чаще всего Зинаида, возила на коляске, на салазках, носила на руках, привязывала большой шалью через свои шею и плечи – как только не умудрялась облегчить свою ношу.

Ясли и детский сад в Бакурах стояли рядом, в одном саду, позади амбулатории или, можно назвать, поликлиники, где работала Зинаида, потому что и амбулатория, и поликлиника размещались в одном здании. Но расстояние от завода до этих мест, а это было в центре села, измерили уже давно натруженными ногами сами сельчане, составляло оно более трёх километров, а до другого конца села и все восемь. В сильные морозы или снегопад Иван запрягал заводского тяжеловоза по кличке Мальчик, и на санях собирал в округе всех детишек, и вместе с Зинаидой отвозил их на работу, в школу, детский сад или ясли. Но были такие дни, – сейчас уже многие не знают, когда сильная стужа и пурга приходили такими суровыми в виде хлётких жгучих стрел из снега, сбитых лютым морозом и гонимых резким порывистым ветром, переходило всё в неприглядный буран, накрывавший село мраком, – что даже тяжеловоз, безотказный Мальчик, не шёл в дорогу. Иван запрягал тогда вороного жеребца, что стоял вместе с Мальчиком в маленькой заводской конюшне. Но тот ломал и курочил оглобли, рвал узду, вожжи, сбрую и не шёл в метель и мрак, хотя был силён и высок в холке, но вой пурги будоражил и выворачивал наизнанку лошадиную душу, наверное, пугал её уже знакомым воем волчьей стаи. Тогда Иван сажал Вовку на закорки, то есть на плечи, заставлял его обхватывать ему шею и через снежное поле и баскаковский переулочок уносил Вовку к Дуне. Сам возвращался на работу. А Зинаида, выдавшая в своей жизни и не такое, пробивалась сквозь ледяную мглу в больницу. Там нельзя было бросить поступивших больных, хотя в её обязанности входило только делать анализы. Но она была одним из звеньев в общей цепи и поэтому не могла разорвать её. Как и бакурские доярки пробивались на свою работу. Невозможно было бросить и оставить коров без дойки, всю некормленную скотину в колхозных и совхозных стойлах и табунах под крышами или во временных загонах, где лошади сбивались в одну кучу, согревая друг друга своим теплом и заталкивая в середину этого круга неопытных жеребят.

Потом пришло время, когда из детского сада в хорошую погоду родители разрешили Вовке ходить домой самому. Так он однажды пришёл с белыми, как простыня, ушами; все поняли, что он их отморозил, и вопреки увещаниям Зинаиды Иван растёр ему уши снегом, у Вовки катились слёзы от боли, но он терпел, а ревела мать, которая просила делать это бархоткой, на что Иван ответил:

– Мужик он или не мужик?!

С морозами Вовка научился справляться, он теперь знал, как можно отморозить уши в яркий солнечный день, когда мороза не чувствуешь совсем, когда на голове шапка-ушанка, а на ногах валенки, и трёхкилометровая прогулка в этот день с незакрытыми ушами может оказаться безрадостной. А Зинаиду пугал теперь баскаковский проулок и его собака Баско, пока Дуня не поведала ей и не рассказала про то, о чём знали в Бакурах не все.

Фёдор Баскаков был солидный и умный человек. Его мудростью можно было восхищаться. Он вырастил и воспитал трёх сыновей: капитана подводной лодки, командира пограничной заставы и начальника уголовного розыска. Последний сын жил ближе всех, в Саратове. Сам Фёдор был мощный, кряжистый мужик, женатый на Фросе, что работала в больнице сестрой-хозяйкой. И её Зинаида давно уже узнала. Та была такая высокая и сильная, что даже Зинаида, при своей крепкой комплекции, по виду уступала ей. А Фёдор, хоть и ниже был ростом своей жены, но так основательно сложен, что разница в росте не бросалась в глаза. Он был комком мышц, у него были сильные большие руки, мощные ноги, грудь колесом нависала над животом с тугим брюшным прессом, где ярко вырисовывались кубики на рельефе прямых мышц живота, когда он снимал майку. Работал он не зная усталости.

Большая грузовая машина с надставленными бортами, которые были специально приподняты дополнительными досками, чтобы кузов вмещал больше зерна, была всегда в идеальном состоянии – чистая и на ходу. Он, один из немногих, имел особые привилегии: колхозную машину ставил у дома, приезжал и уезжал на ней с работы и на работу. Дом у него тоже был основательный. Но главное – это его сад, огороженный плетённым из ивовой лозы забором. Сад был фруктовый: яблони, груши, сливы и особая гордость хозяина – виноград. За забором было продолжение – огород, там Фрося выращивала огурцы, помидоры, картошку, а фруктовые владения, ухоженные и облагороженные заботливыми руками и любовью садовода-любителя, стали вотчиной только Фёдора. Двор он спроектировал так, что машина въезжала и выезжала со стороны улицы, а вход в тёплый уютный дом находился со стороны проулка под сенью высоких деревьев, то есть летом он был всё время в тени, и здесь было прохладно, а зимой защищён от сильных ветров и снега.

Собак он водил всегда. В народе их звали собаками Баскервилей. А он любовно называл Баско – может, оттого, что фамилия была у их рода Баскаковы.

И жили они, Баскаковы, в селе с давних времён. Здесь покоились на погосте их матери и отцы. И вся их родословная была захоронена рядом. Все, как по мужской линии, так и по женской.

Собак он не заводил, а принимал маленькими щенками в семью и воспитывал так, как умеют делать немногие. Не смел его Баско позволить себе ничего лишнего, если этого не разрешал хозяин. Был послушным. Если Фёдор говорил ему: «Сидеть», он будет сидеть. Если надо – сутки, а если потребуется, и дольше... Но он никогда не отдавал глупых команд, не заставлял собак сидеть сутками, он не приучал к потешным командам, потому что относился к ним на равных, как к себе, и они тоже любили его своей невероятной преданной любовью.

Однажды, когда поселившиеся недалеко от деревни цыгане стали промышлять на жизнь воровством, они угодили к Фёдору, и тот вынужден был обратиться за помощью к Баско; сначала он отстегнул от ошейника цепь и приказал тому сидеть. Цыганам он сказал, что лучше будет, если они всё, что взяли, оставят и уйдут, так будет лучше для всех. Но не этого те хотели. Завязалась драка. Фёдора, этого русского богатыря, кулаком не собьёшь, тычком с ног не свалишь. Пёс сидел и повизгивал, чтобы порвать обидчиков хозяина, но не мог, потому что не поступало команды, а значит, нарушить волю хозяина не имел права. Только когда Фёдор понял, что не успеет отдать приказ, потому что потеряет сознание от удара кастетом, из последних сил прохрипел одновременно с ударом: «Фас!». Что было дальше, описывать не хочется. Но желание цыган забрать что-либо у Фёдора отпало сразу, а весь табор покинул деревню в эту же ночь.

Судьба его собак была разной, похожими они все были в одном: Фёдор воспитывал и приучал их так, – не дрессировал, а именно воспитывал, – чтобы они не могли ослушаться его никогда и ни при каких обстоятельствах.

Сын привёз ему с границы очень сбитого пушистого щенка, который и станет отцом сегодняшнего Баско. Щенок вырос и превзошёл все в размерах ожидания. Был очень крупным и высоким, а в груди так широк, что это выдавало в нём не только огромную немецкую овчарку с необычными свойствами, но могло показаться, что отец у него, пожалуй, мог быть уссурийским тигром, такие ходили слухи. А сын, который в это время там и служил, на Дальнем Востоке, не говорил правды.

Сам Фёдор был охотником. И в те времена, когда часто ходил на охоту, брал с собой собаку. Для него это было привычным делом. На войне он попал во фронтовую разведку, и однажды когда они ушли за языком, в перестрелке всех разведчиков убили фашисты, он один принёс на себе языка через линию фронта к своим, за что был удостоен высокой правительственной награды. Словом, Фёдор был жилистый и выносливый, таких же выбирал себе и собак. Но то, что потом произойдёт с его питомцем, он не сможет объяснить никогда.

Он увидел и не поверил своим глазам, что его верный друг, пёс, привезённый ему сыном ещё чёрным комочком, не больше рукавицы, с самой государственной границы, которого он вырастил и выкормил, играл и забавлялся с красивой волчицей. Фёдор давно её уже замечал, охотясь ещё прошлой зимой, выдавал её и отличал от всей стаи большой белый «галстук» на шерсти от самой шеи и чуть ли не до пупка, что тянулся полосой, то есть это был другой, белый, окрас самой шерсти, по сравнению с её чёрно-серой мастью.

Потом такой же галстук будет и у Баско, того, что забрал кусок хлеба с маслом у испуганного Вовки.

Но с того дня, когда его верного друга соблазнила волчица, Фёдор не стал больше ходить на охоту и уж тем более брать с собой «опозорившегося блудливого кобеля». И как-то ночью Ефросинья проснулась в страхе, разбудила мужа и сказала, что корова у них так мычит, как если бы к ним пришёл волк. Фёдор взял ружье и ушёл проверить, почему мычит корова... И увидел, как они нежатся, трутся мордами и шеями друг о друга – его верный пёс и дикая хитрая, но до того красивая волчица, именно та самая, которую он хорошо запомнил, и если бы он тоже был волком, не смог бы не влюбиться в неё. Но сейчас всё было не так; он вскинул ружьё и два вертикальных ствола «зауера» нацелились в голову волчицы, которую любил её пёс и верный ему когда-то друг, но тот встал впереди неё и закрыл собой, своей широкой грудью, любимую волчицу. Тут Фёдор вдруг вспомнил, что, может, и не зря болтали люди о связи его пса с дикой природой и дикими зверями, может, не случайно промолчал его сын про настоящего отца щенка, которым мог быть уссурийский тигр. Ведь теперь он разглядел у него неоднородный окрас на спине, полосами, где чёрные параллельные дорожки чередовались с ещё более чёрными, догадываясь, что только не зебра могла быть этому причиной.

А ещё два жёлтых глаза его пса смотрели на постаревшего Фёдора, и он опять подумал о цвете кошачьих глаз, и знал старый охотник, что у тигра они тоже жёлтые. Но взгляд его пса был не злобный, а от жёлтого цвета глаз даже мягкий, выражение – жертвенное, какое он видел на фронте, когда ценою своей жизни разведчика он защищал и спасал детей и женщин, и они тоже смотрели на него такими же глазами, ища в нём спасения, защиты и любви...

Он вернулся в дом, соврал и успокоил жену Ефросинью, а сам не смог уснуть до самого утра, всё думал и переживал, что же делать дальше. Болел Фёдор душой и не находил себе места. Отношения с псом испортились. Они не знали оба, что им делать. Но судьба распорядилась сама, когда, неожиданно для него и всего села, его кобель на вой из леса завыл так, как только воют волки («Научился, видно, паразит», – подумал Фёдор), а из леса снова на его вой раздавался вой настоящей волчицы, и этот вой Фёдор различил бы среди тысячи волчьих голосов. Тогда он подошёл к своему другу, потому что иначе поступить не мог, и как опытный

охотник он понял и знал – предчувствовал, что случилась беда и помочь теперь своему Ромео может только он, Фёдор, как не раз пограничный пёс спасал жизнь и ему.

– Веди! – сказал он псу, отстегнув цепь.

Пёс помчался в сторону леса, а Фёдор бежал за ним лёгкой трусцой. Пёс иногда оглядывался – не отстаёт ли хозяин, ведь без него ему не справиться. Хотя о какой помощи он мог думать, не каждый смог бы догадаться, но мудрый Фёдор смутно догадывался, к чему привела их грешная, неестественная любовь, хотя и были они оба из семейства псовых, но в природе такая любовь была исключением.

В лесу, среди зелёной чащи, лежала окровавленная волчица с распоротым от ружейной пули животом под козырьком земли подмытого дождями края оврага. Она умирала, а рядом еле шевелился народившийся чёрный волчонок или собачонок – Фёдор уже не знал, как правильно его называть. Он сорвал с себя рубашку, снял всё нательное белье, которое было, и подвязал волчице выпавшие из живота кишки, завернул кутёнка волчицы в зелёную военную рубаху, помолчал, перекрестился и пошёл обратно; пёс шёл сзади, свесив голову, и имел понурый вид. А по обе стороны от них, метрах в ста, шла разделившаяся надвое волчья стая. Когда они с псом вышли из леса, тот остановился. Волчья стая не нападала. Фёдор понял, что они его отпускают. Хотя он был безоружным и беспомощным перед ними и не раз был их врагом, когда приходил в лес в эти места на охоту, как тот охотник, что застрелил волчицу, подошедшую к нему на близкое расстояние: она думала, что теперь может не бояться людей, раз любила одомашненного зверя, верного друга человека. Но злодей не мог не видеть, что она носит в себе волчонка, и сезон охоты уже закончился. Она, раненная, уходила от браконьера тайными тропами, только чтобы спасти своего ребёнка.

Фёдор посмотрел на пса, тот тоже поднял голову, чтобы видеть глаза хозяина, и понял, что тот разрешает ему вернуться к умирающей волчице, чтобы проститься, а сам Фёдор понёс волчонка домой и кормил его из соски.

Пёс вернулся на другой день, убитый горем и невозполнимой потерей матери щенка. Он подошёл к нему, своему детёнышу, облизал его всего и ушёл из дома умирать. Хотя по собачьим меркам был ещё не стар, но опытный и мудрый Фёдор знал, что в природе такие случаи есть, и не только у белых лебедей, про которых говорят: лебединая верность – как об абсолютном вечном чувстве любви. Когда невозможно жить без своего избранника. И что таким качеством обладают лебеди, которые погибают, если их второй половины уже нет в живых. А про собак говорят всего лишь: собачья преданность, верность и привязанность к своему хозяину. А они так часто бросались на помощь, жертвуя своей жизнью, «забывая сказать», что происходит это от большого чувства, огромной любви к человеку или к любому живому существу, которое им выпадало спасать. А мы порою ошибаемся и списываем это опять на трусливую адресированную покорность своему хозяину или самому себе. Но это незаслуженное и ошибочное мнение, которое определили и придумали люди, а случилось это потому, что они одомашнили собак и те стали перенимать от людей не только хорошее, но и плохое. Наверное, потому и заслужили от своих хозяев не лучшие отзывы. А в дикой природе, где больше истины и правды, там, вероятно, и больше чистоты, там, где и живут и любят друг друга дикие лебеди. Может, потому Баско любил дикую волчицу, что её любовь была чище и жертвеннее, когда нельзя сказать о любви грубым словосочетанием «собачья любовь», потому что они оба поплались за неё и приняли смерть напрасную, а если воля на это чья-то была, то грустная, печальная, и может даже порочная, ведь и у них любовь, тоже была лебединая... И, подумав об этом, Фёдор за всё простил старого Баско и ещё больше стал любить его сына, выросшего и ставшего похожим на отца и мать-волчицу, унаследовав от неё белый галстук на груди и на шее.

Много лет потом волки не приходили в деревню Бакуры и не душили овец, а сельчане приговаривали:

– Ай да Фёдор, ведь они это его за волчонка благодарят! Вон какого красавца вырастил!

Так у Фёдора появился молодой умный пёс Баско, унаследовав и волчью гордость, когда они отгрызают себе лапу, попадая в капкан, чтобы только не быть пленённым. Он проживёт у него много лет, и время его ухода из жизни, как ни странно, совпадёт день в день с хозяином.

В один из вечеров Фёдор дождался Зинаиду с Вовкой в проулке. Извинялся за непутёвого Баско, что, мол, ещё молодой, глупый и игривый, а потом завёл их в свой сад, и Вовка ахнул, потому что он был похож на сказочное царство, о котором читал ему отец в детских книжках. Фёдор наполнил корзину яблоками и грушами и сказал, что корзинку возвращать не нужно, он их сам плетёт из виноградной и ивовой лозы. Зинаида и Вовка ходили теперь через проулок Фёдора без страха, потому что ещё в саду Фёдор разрешил им погладить своего пса, а тот сидел смиренно и стыдливо тупил глаза в землю.

– Он у меня иногда сам погулять просится – надоедает на цепи сидеть. На нашей улице всех знает, и его все знают. Кормить только запрещаю его чужим людям, – продолжал оправдываться Фёдор.

– Я-то испугалась, Фёдор... – замешкалась Зинаида, вспоминая отчество.

– Матвеевич, – подсказал Фёдор.

– Вот я и хотела сказать, Фёдор Матвеевич, – продолжала свою мысль Зинаида, – испугалась: боялась, покусает сына.

– Да вы что, люди добрые, разве мой Баско обидит ребёнка?! Скорее, спасёт! Один против всех встанет и не струсит. Храбрый он у меня, умный, сноровистый. А вот что кусок хлеба с маслом отобрал, за это простите его – схулиганил! Ему масла нельзя. Он и не отберёт никогда. Скорее, поиграть захотел, сам ведь ещё ребёнок, а общаться не с кем! – подробно объяснял Фёдор, заступаясь и оправдывая своего пса.

– У нас много людей обращается в больницу с собачьими укусами, – Зинаида пыталась объяснить свой страх и испуг.

– Это не про него! У хорошего хозяина собака не то что не укусит – лишний раз не гавкнет, это ведь нехорошо, когда на сеансе в кино люди разговаривают, – Фёдор не хотел хвалить себя, но всё равно это вышло само собою за разговором.

– А как же вам удалось добиться такого послушания от собаки? – серьёзно заинтересовалась Зинаида.

– Да я и не задумываюсь об этом. Любить их нужно. Они тогда любовью и ответят. Как люди, – здесь Фёдор хотел уменьшить частично свои заслуги, чтобы не выглядела его речь хвастовством.

– Да разве у собак как у людей?!

– А то нет. Иногда у людей не встретишь такой верности и преданности. Ну и люди, конечно, могут быть все такими, если сразу одновременно хорошими станут. Можно ведь человека любить сильно и долго очень, особенно если это женщина, тогда она всё равно тебя обязательно полюбит. А у них, – он показал на Баско, – это закон! Говорят, у нас душа, а у них – инстинкт. Вот их инстинкт, замечал я, чаще сильнее нашей души. Тут и призадуматься, что лучше-то. Некоторые свою душу дьяволу продают или закладывают, а инстинкт продать нельзя, он сильнее разума и не принадлежит ему! Ох и заболтал я вас, вы уж извиняйте.

Зинаида с Вовкой попрощались с гостеприимным хозяином Баско и отправились домой, унося с собой корзину с фруктами из баскаковского сада.

Иван действительно читал Вовке много детских книжек, словно восполнял ему физическую недоразвитость и частые болезни, чтобы Вовка стал хотя бы умным. Он умел читать книги мастерски, словно в нём жил артист разговорного жанра или драматический актёр, который направил свою судьбу в другое русло в сложном течении жизненных перипетий, хотя талантливый человек, а Иван был таким, талантлив во всём. Вот он в разных лицах и образах представлял Вовке персонажей детских книг, где сказочный петух его, Ивановым, голосом кричал и причитал до слёз, чтобы его спасли, и делал Иван образ таким беззащитным, беспомощным

и обречённым, что Вовка невольно уливался слезами из жалости и умиления. Зинаида просила Ивана быть снисходительнее и не травмировать ребёнка психику – мол, рано ему ещё до такой степени переживать. Тогда Иван брался учить его играть в шахматы, и всё время обыгрывал, а ещё поддразнивал и подтрунивал. От обиды Вовка хотел играть бесконечно, обыграть отца, но у него никогда пока это не выходило. Зинаида просила мужа поддаться сыну хотя бы один раз, на что Иван отвечал безапелляционно:

– Только трудности делают из ребёнка настоящего мужчину!

А глаза Вовки снова были на мокром месте, и он будто весь превращался в маленькое жалкое существо с тонкими кривыми ножками, с надутым животом, с большой, как при водянке, головой – словом, в того рахитика и альбиноса, что Иван не мог никак понять. Его дети от первого брака нормальные, а этот – с белёсыми волосами, бесцветными и даже розоватыми от просвечивающей кожи в области бровей, и это у кого? – у него, у сына Ивана, у которого чёрная щетина, чёрные как смоль волосы, и это у него, у обворожительного брюнета, кого все называют красавцем.

Зинаида понимала, о чём муж думает, по его намёкам, и сильно обижалась, невзначай обронив в его сторону, как показалось Ивану, незаслуженные упрёки – что, может быть, было бы всё по-другому, если бы Иван не пил. Ну что было дальше, трудно пересказывать и представлять, просто не хочется, – Иван избил жену сильно и жестоко, так что она две недели не могла ходить на работу.

Прибежала к ней Зинаида Ивановна Гарина, старшая сестра больницы, охала и ахала, помогла оформить больничный лист. Конечно, и Дуня не выходила в эти дни от Шабаловых. Больше двух недель помогали свалившейся от побоев Зинаиде кормить Вовку, а сын её Ваня ухаживал за скотиной семьи Шабаловых, потому что сам хозяин при таких скандалах чаще уходил в запой, и Дуня делала всё, чтобы не допустить больше избиения, если Иван вдруг решится на это снова. Зинаида много плакала, и жаловалась Дуне как родной матери, и хотела развода, тут Дуня просила не торопиться и советовала сначала выздороветь, так как настораживало, что после побоев у той поднялась температура и держалась неделю.

Ну а потом случилось другое несчастье, которое волей или неволей отодвинуло тему развода на второй план. У Вовки заболел живот. Опять прибежала Зинаида Ивановна Гарина, и с обеда и до поздней ночи «колдовала» над мальчиком, чтобы облегчить его состояние, и когда уже поняла, что выход только один – везти его в больницу, – тогда Иван запряг заводскую лошадь и все поехали к врачу.

Была уже ночь, в больнице кое-где горел свет, сначала не могли достучаться, потом не могли найти хирурга. И здесь нужно сказать, что хирургом больницы был известный и прославленный Станислав Анатольевич Москвичёв. Ему было 35 лет, он успел уже поработать во многих больницах Саратовской области, отличался сильным талантом и даром хирурга. Свою работу он мог делать с закрытыми глазами. Но беда была в том, что глаза ему закрывала не чёрная повязка факира, а заливала их страшная русская водка. Да, он много пил и был не из Бакур. Вместе с женой Гертрудой они приехали в село. Говорили о ней, что она была поволжской немкой, которая родит ему двух сыновей. Проживут они и проработают в деревне не намного больше, чем Зинаида с Иваном. И они уже встречались вместе несколько раз за общими праздничными застольями у самих Москвичёвых, в то время это и была так называемая советская деревенская интеллигенция. В большей своей части – приезжие, с высшим образованием. Специалисты в разных областях, ниспосланные какими-то силами поднимать и улучшать сельскую жизнь, а чаще сосланные и гонимые с разных мест за излишнее влечение к алкоголю или собравшиеся здесь по воле рока – смелые правдоискатели или гордые одарённые таланты, где очень часто тоже начинали спиваться.

Быт Москвичёвых не понравился Зинаиде сразу, в доме у них было грязно и неухожено, не было порядка, не было хороших отношений друг с другом. Гертруда, как выяснилось, нико-

гда нигде не работала, считалось, что она воспитывает детей. Они не будут хорошо учиться в школе, от деревенских ребятишек будут отличаться развязностью и непредсказуемым поведением и закончат жизнь в тюрьме, не дожив до зрелого возраста настоящих мужчин. А Гертруда доживёт остаток жизни в Энгельсе, если кто не знает – это красивый городок поволжских немцев на левом берегу реки Волги, который соединяется с Саратовом большим мостом, равных которому на то время не будет даже в Европе.

В эту ночь, когда привезли Вовку, Москвичёва долго искали, но всё-таки через час нашли. Он был в стельку пьян, потому что ещё с вечера начали отмечать какой-то праздник. Иван стал теребить и умолять его спасти сына. Тот быстро определил, что у мальчика аппендицит. Но оперировать прямо сейчас он якобы не может, соврал, что аппендициту необходимо созреть, потом опомнился, что им врать нельзя, Зинаида тоже медицинский работник, пусть и фельдшер, и признался, что ему нужно два часа времени, чтобы прийти в себя. И убедил тоже Ивана, что за это время ничего не случится. Иван стал ходить по коридору больницы, сжимая кулаки и сдерживая себя, чтобы не убить Москвичёва раньше, чем тот прооперирует ему сына. Зинаида всё видела и слышала. Москвичёва она уже знала как бы давно, больше, чем они вместе с Иваном, потому что он был у неё ещё и главным врачом, и что он был сильным и талантливым хирургом – она об этом тоже уже знала. И оттого, что выхода у них не было, она стала уговаривать Ивана подождать. А Иван, глядя на Вовку, как тот, бледный и белый лицом, тоже понимавший уже всё, искал в глазах отца спасения, не выдержал и пошёл снова в ординаторскую, хотя в сельской больнице все кабинеты были одинаковыми. Они встретились глаза в глаза, два алкоголика, но сейчас, в этот момент, от одного из них зависела жизнь ребёнка другого, и оправдания себе Москвичёв не искал. Иван чувствовал себя вправе глядеть на него так, как он глядел на войне в очень важные для себя и своих солдат минуты. Он чувствовал своё превосходство, а потому считал, что у него есть на это право – от его любви к алкоголю не зависела никогда и не может зависеть, как думал он, жизнь другого человека. Москвичёв выпил залпом кружку горячего чая и сказал:

– Ты, Иван, прав! Но ты не лучше, а может даже хуже! Запомни мои слова! Я не первый раз людей перед собой вижу!

Иван вышел от него и сильно хлопнул дверью, так сильно, что даже Зинаида испуганно вздрогнула и прижала Вовку ещё крепче. А тот тихо стонал, превозмогая боли в животе.

Дали наркоз. Это был эфирный наркоз, и давали его тогда так, что дышали им все: и хирург, и операционная сестра, и санитарка. Но Москвичёву было хуже всех, поскольку он ещё не отошёл от своего алкогольного «наркоза». Он был худой и двужильный, с сильными и крепкими, как корни деревьев, руками, оперировал в деревне днём и ночью – не было у него выходных, отпусков, праздников, отгулов – за это и снискал себе славу. Смертность у него была самая низкая. Вовке он удалил аппендикс, через семь дней снял швы, через десять – выписал домой. Иван привезёт хирургу, когда того не будет дома, ящик сливочного масла и молча отдаст Гертруде. Москвичёв через несколько лет сопьётся окончательно, Иван и Зинаида уже покинут к тому времени деревню. А прославленный хирург навсегда потеряет работу: пьяным прооперирует ребёнка, который умрёт у него на операционном столе, и в забвении, никому не нужным, забытым, сам умрёт на руках у своей Гертруды в городе Энгельсе, где она его и похоронит.

Иван вспомнит его слова в страшные минуты своей жизни. Потом, в будущем, Вовка станет юношей и будет смотреть на шов от операции, видеть, что он у него неровный, кривой, вспоминать пьяного хирурга, благодарить судьбу за подаренную во второй раз жизнь. И не обижаться, что хирургу не удалось сделать шов ровным, потому что знал, что тот был в сильном пьяном дурмане и с трудом удерживал руки и скальпель, и хорошо, – думал Вовка, – что он тогда ещё остался жив.

Деревня продолжала жить в своём обычном ритме, оживала с первыми лучами солнца и засыпала в поздние часы вечерних сумерек, но где-то могли ещё продолжаться работы, шагнущие за полночь.

Потом солнце снова поднималось далеко за центром села, а к вечеру оно садилось далеко за маслозаводом. Река Сердоба текла по селу с востока на запад, или от восхода солнца и туда, куда оно заходило. По обе стороны реки распластались и расселились, вжились и вкопались в русскую землю избы и хаты, терема и дворцы, бревенчатые и кирпичные, а вместе с ними – магазины, кинотеатры. Теперь в Бакурах было два кинотеатра – новый и старый, а также почта, роддом, больница, большие производственные склады. Они с юга, с горы, со стороны колхозных и совхозных загонов, длинных ферм и других сельскохозяйственных построек освещались и нагревались ярким тёплым солнцем средней полосы, а далеко за рекой растянулись бескрайние лесные массивы и чащи, уводящие взгляд на север, в другие места и дали всего русского Поволжья.

А позади старого маслозавода, деревянного, начали наконец строить новый – из железа и бетона, совершенно другой, современный завод для переработки молока, в огромном количестве свозившегося сюда, пока ещё на старый завод, не только с Бакур, но и со всех окрестных деревень. Иван по-детски радовался и даже не скрывал своего чувства, амбиций, и тщеславия, и где-то даже эгоизма, что в него поверили и что строительство нового завода в большей степени его прямая заслуга и его хлопоты, как бы ни примазывались к этому превосходству Пётр и Нинка.

Нинку Касьянову, заместителя Ивана, на заводе недолюбливали. Называли Касьянихой, а ещё хуже переводили прозвище как «смерть с косой» – может, оттого, что она была сильно худой, но больше всего потому, как думала Зинаида, что Касьяниха была злой и завистливой бабой. Зинаида её тоже не любила, хотя не могла до конца объяснить – почему, чем вызвана эта нелюбовь. Они давно уже перестали общаться семьями, только Петька Сиротин бегал вокруг Ивана, чтобы тот взял его жену Нюрку на работу, так как родившемуся у них Юрке исполнилось уже три года, и Петька хотел устроить её на завод лаборанткой, а не отправлять в колхоз на тяжёлый физический труд.

Сердоба за это время трижды разливалась так сильно, что затапливала дворы и все хозяйственные постройки у Шабаловых, у Сиротиных, у Касьяновых, нанося огромный ущерб и урон, и било это всем семьям по карману, сказывалось на семейном бюджете как у тех, так и у других. Иван и Зинаида возили мясо в Саратов. Но чтобы долго не стоять за прилавком, они сдавали всё мясо оптом: свинину, говядину, кур, индюшек, а также картошку, которую тоже выращивали сами. Они вкладывали большой труд, чтобы скопить денег, ведь Иван хотел когда-нибудь построить или купить свой дом, может даже не в Бакурах, а, например, в районе или даже в области, в Саратове или уж в Энгельсе. Но через несколько лет Иван и Зинаида стали понимать, что хороших денег скопить у них пока не получалось.

Нюрку Петькину он возьмёт на работу, а Нинку Касьянову станет учить всему, что знал сам, на всякий случай, если он куда-то отлучится, чтобы быть спокойным, потому что есть кому его заменить. Но Зинаида поняла это по-своему: что ему стал нужен человек на дни его запоев, так как раз за разом, год за годом ему всё труднее стало переносить эти загулы, и он всё больше времени тратил, чтобы из них выйти и восстановиться в полной мере для продолжения повседневной работы. И тогда она сказала ему:

– Ты роешь себе могилу, но кроме всего, ты нанял себе гробовщика! – вкладывая в эти слова два смысла: что он много пил и что Нинка действительно когда-нибудь заменит его не на время, а навсегда.

Иван не придавал этим словам серьёзного значения, потому что, с его нравом и характером, он считал, что держит всех в кулаке и никого не боится и был на самом деле крепок и силен, умён и дерзок, не лез за словом в карман. Любого выскочку мог сбить с ног одним ударом

кулака, ведь ещё в детдоме он понял, как выживать в этой жизни. Нужно быть умным и сильным, со стальными нервами и железным характером, поэтому одарённый от природы умом он ещё много времени тратил на физические упражнения с тяжёлыми металлическими колёсами от вагонеток, когда привёз их из Екатериновки.

С Москвичёвым он снова подружился и даже несколько раз умудрился с ним напиться вусмерть. И только благодаря колхозному тяжеловозу Мальчику он попал домой, хотя на улице был сильный мороз, зашкаливало за 30 градусов ниже ноля, но Мальчик аккуратно довёз сани до дома и, став возле калитки, ржал до тех пор, пока Зинаида не вышла из дома. Откопав Ивана из сена в санях, освободив от тулупа, с большим трудом, волоком, вместе с малолетним Вовкой они затащили отца в дом.

Последнее общение с Москвичёвым привело Ивана к знакомству с заведующей аптекой Эммой Генриховной Рапопорт, поволжской немкой, женщиной тайной судьбы. О ней ходили слухи, байки, холодившие сердце, а иные говорили, что от одного её взгляда может закипеть кровь в теле человека живого или даже мёртвого, – и многие верили в это по-настоящему.

Она была в прошлом агентом или резидентом советской разведки, долго работавшей в немецкой промышленности, а точнее, в биохимической лаборатории по созданию оружия психотропного воздействия, делающего человека послушным и работоспособным; такой «биоробот» мог работать без остановки и отдыха день и ночь и, конечно, воевать – это был солдат надежды. Её расконсервировали, когда фашисты близко подошли к тем фармакологическим формулам и клиническим испытаниям, вот-вот у них могло получиться то, чего добивались в секретной лаборатории на протяжении не одного десятка лет.

Наша разведка стала активно действовать. От Эммы шли одна за другой шифрограммы. Стало понятно всем, и ей тоже: рано или поздно её рассекретят. Такова судьба любого разведчика: когда приходит время его активной работы, он становится уязвимым и в конце концов виден и слышен, как маячок, мигающий среди страшной и необъятной тьмы, или как часы, которые начинают заводить, и они тикают, а потом бьют, и кажется: так громко, словно куранты.

Немцы её не убьют только потому, что она тоже была немкой. Они испытают на ней своё «химическое чудо» и оставят умирать под бомбёжками и ракетами наступающей Советской армии.

Она много лет проведёт на лечении в госпиталях, научных институтах, в больницах КГБ. Ей дадут первую группу инвалидности, награду, пенсию, и она навсегда уйдёт из разведки на вольные хлеба, уедет в Бакуры – здесь в далёкие времена осели её прародители, и она будет ухаживать за могилами всех своих родственников.

Иван её увидит в то время, когда её возраст шагнёт далеко за 50, но выглядеть на тот момент она будет на 25. Это тайна, которую учёным предстоит ещё исследовать много лет, а может, столетий, связанная с процессом замедления старения или бессмертия от тех химических опытов, которые немцы проводили уже во время войны.

Кожа лица, кистей рук была у неё белая, бледная, с мраморным оттенком, и, как на мраморе, просвечивали синие прожилки подкожных вен. Сумасшедшая блондинка с кукольными чертами лица, сегодня её бы сравнили с куклой Барби. Она действительно была бы похожа на большую девочку, если бы не пронзительный острый взгляд взрослого человека и грустные колючие глаза. В них было не 25 лет, а намного больше, где как будто бы таились многовековые тайны и секреты внешней разведки, а для простого человека – тайны и секреты этой и потусторонней жизни с её вечностью заоблачного бытия и сознанием зазеркалья.

Иван чувствовал кожей и нутром, что ей намного больше лет, чем она, смеясь, говорила ему. Всё тело её и фигура были телом настоящей гимнастки или цирковой эквилибристки, гибкой, словно резиновой, легко делавшей колесо назад и вперёд и садившейся в полный шпагат. Она растекалась бесхитростным детским смехом, и обвивала, как женщина-змея или гут-

таперчевая мадам, всё тело Ивана, и, касаясь своими губами его губ, целовала подолгу, затаив дыхание, словно у неё запасные лёгкие. Она не уставала от физической близости, словно заводная кукла, ключ от которой был у неё в руках, и она им будто всё время подкручивала пружинный механизм.

Эмма легла на диван, красиво прикрывая грудь правой рукой, и как бы незаметно, вроде слегка положила левую руку на ноги или, скорее, между чуть раздвинутых ног. При этом левую ногу она легонько сгибала в коленном суставе и прижимала к спинке дивана. Ладонью этой руки она прикрыла то место, где покоилось её жаркое светлое чудо женского безрассудства, от которого Иван млел и находил нечто тайное, чего никогда ещё не удавалось ему обнаружить в других женщинах. Он увидел, что она незаметно и скрытно от него принимает какие-то пилюли, и он подумал, что, может быть, в них и кроется её безумная страсть и сумасшедший прилив нескончаемых сил. Но потом оказалось, к его стыду, что она всю жизнь принимает эти таблетки по предписанию врачей, которые обязали её к этому сразу, как только она «вошла в ум» после страшного химического отравления и воздействия оружия Третьего рейха, которые не успели применить фашисты как оружие массового поражения во Второй мировой войне – в этом отчасти была заслуга и её, советской разведчицы.

Иван никак не мог свыкнуться с мыслью, что они оба прошли войну, что им уже было немало лет. У Ивана рос живот, и он связывал офицерским ремнём огромные чугунные старые колосники от заводских отопительных котлов высотой под самую крышу завода, надевал ремень на шею и качал пресс, поднимая и опуская груз, напрягая живот, чтобы убавить его и сбросить вес. Делал эти упражнения даже не до седьмого пота, а может, и больше – до сотого, и у него всё равно не получалось добиться нужной формы. А эта дюймовочка не имела живота, морщин, была покрыта красивой бархатной, как персик, кожей в самых обворожительных местах, а мрамор её кожи, словно умышленно, на лице и кистях рук ещё больше запутывал Ивана в чарах несравненной красоты.

Она, облизывая и целуя его в губы, тихо произнесла:

– Ваня, я тьбя сыльно лублю!

Иван разозлился и сказал:

– Зачем ты так? Ты же хорошо говоришь по-русски!

– Хочу, чтобы ты полюбил во мне немку.

– Говори тогда по-немецки!

И Эмму словно прорвало, прошло ведь уже около 20 лет после войны, и вдруг есть человек, который хочет слышать её родную речь; заговорила по-немецки. Она читала наизусть стихи Гёте, Гейне, отрывки из произведений Шиллера.

И Иван замирал от мелодии классической немецкой литературы. Многого он понять не мог, так как перевести высокую прозу и поэзию доступно не всем. И лишь уловив в одном из стихотворений знакомые напевы, ритм, как мотив в известной музыке, он понял, что знает это стихотворение в переводе; он осторожным движением руки прервал Эмму и прочитал это же стихотворение на русском языке. Эмма стала хлопать ладоши и говорить «Браво!», потом, немного помолчав и глядя в глаза Ивану, стала снова говорить по-немецки, но не так, как читают стихи или отрывки из прозы, а так, как говорят что-то сокровенное очень близкому человеку, которого любят и очень сильно уважают. Иван не мог прервать её речь, потому что она касалась его. Потом она остановилась, тяжело дыша и переживая своё волнение, попросила переждать минуту, чтобы всё это сказать ему по-русски. Но Иван приложил ей палец к губам и ответил, что он скажет за неё сам:

– Дорогой Ваня! Я очень сильно люблю тебя. У меня никогда не было любви и детей. Но я всегда этого хотела. Немецкий народ и русский народ в следующем столетии соединятся, они будут жить вместе, как братья и сёстры. Немцы дадут русским то, чего не хватает вам, а вы

дадите нам то, чего никогда не было у нас – русской души!.. Через кровь, через общие браки произойдёт ассимиляция. Я буду вечно тебя любить!

Она поняла, что Иван знает немецкий язык, поинтересовалась, откуда, и он объяснил, что сначала изучал его в детском доме, и ему это очень нравилось, потом штудировал на артиллерийских курсах, ну а совсем освоил на войне, так что даже иногда его просили поучаствовать переводчиком, когда допрашивали пленных. И если бы не сиротство и война, возможно, он был бы кем-нибудь важным, например дипломатом.

Эмма попросила его организовать настоящую русскую баню и загадочно сказала:

– Я покажу тебе такую любовь, какую ты никогда ещё не видел!

Бабка Калачиха и дед Калач такую баню истопили. Иван пришёл раньше, когда Калач ещё продолжал налаживать баню, чтобы в ней можно было от души попариться. Хорошо её вычистил. Наносил холодной воды. Сейчас тихо сидел и подкладывал в огонь берёзовые и дубовые поленья, а огонь с треском пожирал просушенные дрова. Иван сел рядом и закурил. Дед тоже набил самокрутку самосадам и затянулся пахучим ароматным дымом собственного табака, потом неожиданно, Иван не успел ещё докурить даже одну папиросу, вдруг заговорил. А до этого он всё молчал – со слов односельчан, как слышал Иван, примерно лет двадцать:

– Да, Ваня, воевал я. Воевал, да так, как будто всю жизнь. И война моя, думал я, никогда не кончится. В Первую мировую испытал на нас немец страшное оружие. Траванул нас сильно. Это потом скажут, что под иприт попали. Вместе со мной служил Толька Самохвалов, слышал теперь... Об этом здесь часто говорят. Погиб он сразу. А я покрылся весь глубокими язвами. И как выжил, как выполз – не помню. А мне говорят тут все, что бросил я Тольку. Ну, ты не верь! Не мог я. Я себя-то тогда не помнил. Списали меня подчистую. Язвы долго не заживали. Гноились. И что я только с ними не делал... Заживо гнил. Смердело от меня на версту. Один жил, бобылём. Вдова Толькина всё вокруг меня кружилась – может, узнать чего хотела, мол, чего-то я недоговариваю. Поехал я на лошади в лес сушняк собирать да дров из него наготовить, ну она возьми да увяжись со мной, а я ей: «Клавка, куда ты со мной рядишься, от меня ж смердит, как от пса... не продохнёшь!» Долго задержались, до ночи. Она молчала. Помогала мне сушняк собирать. Может, всё ждала, когда я сам заговорю про войну, а там и про Тольку... А нечего мне сказать было. Волки нас окружили. Голодные они были в те времена. Народ бедно жил, овец почти ни у кого не было, где же им голод утолить, если в деревне людям самим жрать нечего. Поверь, Ваня! Я не себя спасал. От неё всё отгонял их. Двух матёрых зарубить сумел. Но порвали они Клавку на моих глазах. А лошадь моя из леса вырвалась, ну и её они в поле настигли... А потом и меня схватили, одежду всю разорвали, а как до тела и язв дошли – жрать не стали... Представляешь, побрезговали! Такие язвы были зловонные... Наши сельчане в селе опять меня проклинали. Вроде как всех Самохваловых я извёл, с умыслом каким-то. На работу тоже нигде не брали. Сашка Савинов, сосед, напротив портних живёт. Да ты их знаешь уже. Дом позвал срубить. Вон, посмотри! Уж видел теперь, почти в три этажа. Моя работа. Поднял высоко, чтоб не заливало его, третий этаж вроде мансарды ему смастерил, а он платить отказался. Ты, говорит, и так нам всем, бакурским, должен, перед всем селом виноватый. «Что ж ты творишь, – умолял я его, – изверг! Я бы хоть лекарства купил!» Ну и не выдержал я, да топором ему голову чуть не снёс. Видишь, ходит сейчас, шеей не ворочает. Это я его, ирода, пометил. Не наш он, не бакурский, потому пусть меченым бесом и ходит. А всё равно народ меня осудил. А по суду восемь лет дали. Когда революция на всю страну разошлась, отпустили меня. Вот Сонька-то, что бабкой Калачихой сейчас кличут, подобрала меня, травами лечила. Язв не стало. Только рубцы остались. В баню один хожу, сам себя стыжусь.

– Как звать-то тебя, Калач? – спросил Иван.

Дед Калач тут присел, ниже стал, будто съёжился и напрягся, как сгруппировался, словно перекличку в тюрьме вспомнил или на фронте после вражеской атаки, чтобы живых посчи-

тать. И затаился. Ему уже было много лет, лицо – как большая пышка, перевитая и утянутая глубокими и мелкими морщинами, где самые мелкие морщинки, как паутина, покрывали всё лицо, а нос – круглый, толстый на конце – в три просвирки, с множеством мелких и глубоких ямочек. Он вдруг очнулся и вспомнил про Иванов вопрос.

– Савва... Калачов я! – со слезами на глазах назвал он свои имя и фамилию. – А жену мою, ты уже понял, Соней зовут, – добавил дед.

Слёзы беззвучно текли из его глаз, и Иван понял, что прожили Калачи трудную жизнь. И никто не может их судить и ненавидеть. Но так уж бывает, что в каждой деревне живёт свой «сумасшедший». А ещё в русских деревнях назначают козлов отпущения... И вот таким козлом отпущения назначили Калача и измотали и изуродовали его жизнь, что даже дети не приезжали к нему, а он ждёт их и по сей день и сквозь слёзы жаловался Ивану:

– Хоть бы перед смертью посмотреть на них одним глазком!

Понимал Иван и другое: что Калач не всё рассказал ему про свою жизнь. Может, и было в ней что-то неладное, нечестное или даже подлое, но зачем ему, Ивану, всё знать, тем более человеку пришлому и чужому. А поскольку это облегчало исповедь для Калача – рассказать только то, что он хотел, и совсем не говорить о том, о чём знают другие, уже долгие годы хранившие и пересказывающие историю села Бакуры. Таковой, к примеру, была Дуня, но Иван не побежит к ней расспрашивать про Соню и Савву. И он это понимал, раз уж нашёлся человек, готовый его послушать, кому не часто Калач изливал душу, что было в потаённых уголках его замороженного сердца, и какие бы тайны ни хранила его память, о чём знать могла опять та же Дуня и не любить его за это. Иван понял точно одно: что самое тяжёлое и невыносимое горе, давящее на них двоих, это отдалившиеся от них дети. О ком они искренне тосковали и страдали, оттого что они отреклись от них и не навещают отца и мать в их последние годы или месяцы, а может быть, и дни оставшейся жизни, их, родивших и воспитавших своих малюток, сыночка и доченьку, на последние крохи тяжёлой и невыносимо трудной жизни.

И Калач всё время повторял одно и то же – что не могут быть дети палачами своих родителей!

Вскоре появилась Эмма, Иван освободился от калачовских тяжёлых воспоминаний, сбросил чужой груз со своих плеч и рассказал красивой немке смешную и немного грустную историю про баню и вшей на фронте. Водились у них больше всего вши бельевые, или чаще их называли платяными, от слова «платье». Так по чьей-то солдатской прихоти или шутке обозвали их платяными, потому что бегали молодые солдаты и офицеры к деревенским девочкам и любили их сильно, как в последний раз, потому что шли повсюду бои с большими потерями. Красная армия то отступала, то наступала. Девчонки любили русских солдат также сильно, потому что на их долю выпало не меньше страданий и горя: кого-то эвакуировали, а кто-то оставался на оккупированной территории под немцами и создавал партизанское подполье. И те и другие жили одним днём, потому что " «завтра» у них у всех могло и не быть. Они любили и знали: чтобы ни случилось с ними, они никогда не отдадут фашистам свою землю. И живыми и мёртвыми они будут стоять наперекор врагу, в одном ряду, они будут любить друг друга неистово и страстно и ненавидеть врага проклятого, который хочет уничтожить их тела и души. И сегодня Иван уже знал: не завоевал подлый Ирод русскую землю и никогда и никто её не завоеует, пока будет жить хоть один русский солдат или хоть одна русская девчонка на этой земле, что величается матушкой Русью!

Ну а вшей, как ни хитри и ни скрывай, выводить приходилось. Соорудили из блиндажа парилку с тремя буржуйками в центре. Камней натаскали, они нагревались и раскалялись, как в любой другой парилке, плескали воду на них, напускали пару, грели чугунные утюги, металлические бруски, трубы и проглаживали свою одежду: нижнее бельё и форму, особенно где были швы и грубо зашитая ткань, как рубец, – туда и набивалась вошь. И в этой зимней тишине все сразу услышали вой летящего снаряда с той стороны, от немцев... Как он пробил

крышу новоиспечённой бани и не разорвался, понять не успели. Выскочили разом все через узкую дверь блиндажа и голыми на снегу хохотали: то ли от испуга, поздно наступившего, то ли от радости, что опять живыми остались. Ещё и добавляли, шутили: мол, если бы снаряд разорвался, так бы вшей сразу всех и вывели.

Но на морозе долго, да ещё голыми, без одежды, не прстоишь... Иван мог бы приказать любому солдату вынести снаряд из бани, он был старше всех по званию, но полез сам на рожон, других жалел, своей смерти не боялся. Почему вспомнил эту историю у деда Калача? Потому что что-то тяжёлое и необъяснимое крутилось в его голове, где он пытался найти сходство и различие в жизни собственной и деда. А приказать он действительно мог любому вынести снаряд, но сделал это сам. Снаряд попал как раз прямо в валенок, залез в него, как по заказу. Может, поэтому и не разорвался. Скатили его под гору, наутро подорвали. Иван понимал, что он часто шёл за смертью, как будто искал её, а она словно боялась его и не брала, а дед Калач, наоборот, боялся смерти, бежал от неё, а она – за ним, и тоже не брала. Как будто они оба должны были понять в этой жизни то, что ещё пока не доходило до обоих и не оформилось в их душах и сознании, для этого она и давала им время. Сейчас, сидя с Эммой в русской бане, он почувствовал, что точно такая же тишина была в тот роковой вечер, когда неразорвавшийся снаряд сохранил им всем жизнь, но в дальнейших боях в живых среди тех, кто парился с ним в бане, останется только он один – Иван из детского дома.

И вдруг он услышал мелодичный звук гармони, а из стихов Есенина он называл её тальянкой, и глубокий басистый голос Фёдора, того, у которого жил Баско. Вся деревня уже знала, что это означает: Фёдор принял рюмку домашнего самогона и пел от радости весёлую песню, потому что получил известие, что приезжают внуки и дети, которых он любил и всегда ждал с нетерпением. Пел Фёдор всегда по-разному и на разный мотив одну и ту же сочинённую им песню:

Родился я в большом селе
На пенье хриплых петухов,
Пастух взбивал кнут по росе,
И лай собак сгонял коров.
Деревня мирно оживала
В лучах июльского тепла,
А мать на свет меня рожала —
Испить парного молока...

И вся деревня понимала этот шифр: что едут дети сразу все, одним гуртом, было у него их трое, а теперь уже и шесть внуков. Но если Фёдор пел грустно:

Деревня тихо умирала
От слов людей, как ото льда,
Зачем ты, мать, меня рожала —
Не пить мне больше молока... —

это означало, что приехать все сразу не могут, не получалось в одно время взять отпуск. А когда все приезжали, садились за стол, и Фёдор, как в счастливые времена, начинал перекличку:

– Иван? – Здесь! – Семён? – Здесь! – Василий? – Здесь!

Потом называл и пересчитывал внуков, а их с каждым годом становилось всё больше. Он чувствовал себя счастливым человеком. Всю жизнь прожил с одной женщиной и любил её

до безумия. Ефросинья ему отвечала тем же и не могла представить себя без своего любимого Феденьки.

Говорил Фёдор всегда правду и жил по правде. Не врал никому и никогда – ни жене, ни детям, а начальству резал правду-матку прямо в глаза, поэтому прозвали его бесконвойным.

Говорил он, что если сегодня не проведут газ в деревню, не построят дороги, не облегчат, то есть не механизировать, крестьянский труд, то в следующем веке деревни нашей не будет. Не хочет больше молодёжь жить так. По-человечески хочет. По-людски. Но сделать с ним за его правду горькую ничего не могли: вся грудь в орденах, да ещё на фронте в партию вступил. И никто тогда не подозревал, что слова его станут пророческими: и газ проведут, и дороги построят, а деревня вымрет, потому что сделать-то сделают, о чём Фёдор говорил, да уже поздно будет.

Иван тоже вдруг загрустил, повеяло на него чем-то далёким и близким, чем-то правдивым и настоящим, от чего он бежал, и не признавался себе, и не хотел слышать той правды, которую он знал о себе больше остальных.

Эмма придвинулась к нему, налила в стакан минеральной воды, которую принесла с собой, и спросила у Ивана, не пил ли он по её просьбе три дня. Затем протянула ему маленькую таблетку и сказала:

– Выпей, сейчас всё станет по-другому!

И Иван не задумываясь, беспечно доверяя малознакомой красавице, проглотил пилюлю, запив её минералкой. И тут неожиданно всё изменилось. Мир стал, как по мановению волшебной палочки, другим – красивым и розовым. Он посмотрел направо – там расстилалось огромное поле красных тюльпанов. Он повернул голову налево и увидел нескончаемое поле белых роз. А когда поднял голову вверх, это была зелёная красивая чаща или роща из винограда, заполненная чем-то лёгким, эфемерным, словно голубой дымкой, где парили легко и непринуждённо большие белые птицы, как лебеди, но крупнее их раза в три. А впереди, перед ним, не сидела и не лежала, а как будто повисла в воздухе, не прикладывая к этому никаких усилий, белокурая, бархатная, голубоглазая Эмма и всем своим видом, ласковым и нежным взглядом словно говорила ему:

– Ну, хочешь? Хочешь? Вижу, ты хочешь! Ну, полетай, Ваня!

И стоило ему только чуть-чуть захотеть оторваться от места, только захотеть полетать... он полетел вверх, поднимаясь всё выше и выше. Калачовская баня уменьшалась и уменьшалась, а он поднимался вверх, а там, внизу, оставалось что-то тяжёлое, то, что его мучило и тяготило. Было непосильным грузом только там, внизу. А здесь всё тело было лёгким и неощутимым. И если его теперь уже часто простреливала на земле боль в пояснице или он останавливался и замирал от щемящей боли за грудиной и сильного сердцебиения, то сейчас он нарочно проверил поясницу, резко согнувшись, а её как будто и не было – и поясницы, и боли. Он приложил руку к груди, где должно было быть сердце, и щупал на руке пульс, но ничего не мог понять, потому что их там не было, а было просто легко и хорошо ему здесь, наверху...

Потом он медленно стал опускаться прямо на Эмму и сливаться с ней в единое целое. Пряный, воздушный запах её дорогих духов въедался и входил в него, так что он тоже стал чувствовать его и от себя, именно его, а не запах своих противных, приторно-тошнотворных папирос. А от неё, от Эммы, исходил красивый, дурмящий запах разных цветов и духов, он никогда не мог себе этого представить, что запах бывает красивым.

Он легко выходил из тела Эммы и видел её с высоты двух-трёх метров, удивляясь по-новому, как она хороша и обворожительна, чего нельзя было так вот разглядеть, когда он прижимался к ней всем телом или соприкасался очень близко, тогда, в прошлом, когда он не умел летать, а именно сейчас. И она, тоже немного отделившись от того места, где они только что, несколько минут назад, сидели вместе, теперь плавала в воздухе и могла принять любое положение. Она, обнажённая, представала перед ним то одной, то другой стороной, или он видел её

то спереди, то сзади, потом он видел её всю. И это «всё» было сначала как трёхмерное изображение, а дальше он уже не мог понять, как ему удавалось видеть её в четырёхмерном пространстве. То есть тогда он видел её с четырёх сторон одновременно, даже ту сторону её тела, которая была отвёрнута от него, в силу простого геометрического представления из земной жизни. И он понял, что оказался там, где действуют другие законы и другая наука. Но остаются те же чувства, и та же любовь, что неизменно воплощается в красоте женского тела. Это будет будоражить и будет вечно пленять мужское начало и всю его суть, и он не мог уже поверить, что так легко любить, когда видишь безбрежную красоту женской плоти и глубину души сквозь голубые глаза, выразительные и бездонные. В них, как в микроскопе, увеличивалась до видимых для человека размеров великая главная, или основная, частица земного мироздания, или, если хотите, частица для появления разумной жизни.

Очнулся Иван уже в другом месте и пришёл в себя от всего увиденного, а может и содеянного, а он не мог усомниться в том, что обладал этой женщиной и любил её в калачовской бане. Теперь они были у неё в квартире из двух маленьких комнат позади аптеки и под черепичной крышей всего здания. Её комнатки с аптекой были одним одноэтажным строением из красного кирпича с толщиной стен больше метра. Так жили здесь и до неё все провизоры.

Ему было легко и хорошо. Он не пил водку и не хотел. Чудо пилюли ему пришлось по душе, и он решил бросить пить окончательно.

Эмма в это время, а было уже раннее утро, включила патефон, откуда неслись лёгкие песенки на немецком языке. В другой комнате она переоделась в строгий чёрный военный костюм: приталенный китель и юбку – и пританцовывала перед Иваном, или, правильнее сказать, приплясывала, совершая какие-то странные, совсем не похожие на русские танцы движения. И только спустя несколько минут Иван смог понять, что она была в форме офицера СС. В чистой накрахмаленной рубашке, в отутюженном кителе и юбке, будто вся одежда каждый день чистилась, и гладилась, и поддерживалась в аккуратном состоянии, как если в этом по сей день ходят на службу или хранят на тот случай, «если завтра война». А на ногах, на её красивых ногах, блестели чёрные натуральные кожаные немецкие сапоги, плотно обтягивающие её полные тугие икры, – это были настоящие форменные сапоги фашистского офицера. При этом на груди, где он несколько часов назад целовал её соски, а теперь ему хотелось даже сплюнуть, красовались настоящие немецкие награды. Тут Иван не выдержал – трудно сказать, помнил он себя в тот момент или нет, был он в своём уме или не был, но именно так, как он отдавал команду на войне: «Батарея! Огонь!», с остервенением заорал:

– Сними, сука!

Путая проходы, двери, комнаты, натыкаясь на мебель и косяки дверных проёмов, он вышел от неё, обозвав сумасшедшую немку грязной нецензурной русской бранью – матом, и вернулся домой.

Настало благодатное время. Зинаида сразу обратила внимание, что Иван не пьёт и даже не курит, ходит по вечерам в Дом работников просвещения, где собиралась первичная ячейка коммунистической партии села Бакуры. А была она немалочисленной: в селе, где проживало три тысячи человек, коммунистов было 52. Ивану часто поручали делать доклады, и прежде чем выступить с докладом, неугомонный сирота читал их Зинаиде и получал от неё высокое одобрение. Ну и здесь не надо даже лукавить: Иван Акимович Шабалов – офицер, фронтовик, орденоносец, отличник боевой и политической подготовки, один из способных учеников детского дома и офицерских курсов, а потом переросток-студент, блиставший в техникуме пищевой промышленности, – умел делать доклады так, что слушатели замирали, внимали с открытыми ртами и редко даже моргали. Веки словно застывали, а роговицы глаз не сохли, а смачивались слезами радости и гордости за свою страну, как умел преподнести это им Иван. И удивлялись в сосредоточенном упоении его неисчерпаемой фантазии лектора и знатока, каких не было до него в деревне. Так только он умел подать учение о коммунизме, блистал

знаниями по истории, географии, политической жизни в стране и за рубежом – конечно, выбирая всё это из газет и журналов, которые он выписывал всегда и читал в большом количестве. Он снова внимательно, уже в который раз, зная их и так хорошо, перечитал «Капитал» Карла Маркса, «Манифест коммунистической партии», «Моральный кодекс строителя коммунизма» и заставил себя, хоть и безгласно относился к этому, прочитать Библию.

И он верил, как и прежде, в справедливое торжество социалистического уклада экономики, верил Сталину, сомневался в действиях Хрущёва по раскрытию так называемого культа личности великого вождя и в свои годы уже не один раз побывал в мавзолее Ленина, куда хотел и собирался свозить Вовку.

На его лекции ходили особо просвещённые, дотошные и любопытные слушатели, когда-то ставшие членами партии. Иногда коммунистами становились не по зову сердца, а вынужденные это сделать из-за предложенной должности или по другим причинам, когда отказаться от вступления в её ряды было труднее, чем согласиться. Но те, кто вступил на фронте, выгоды не знали, кроме одной – поднять в атаку упавшую на землю роту под огнём врага и зачастую из-за этого первыми умереть за Родину.

И те, кто пришёл в партию без всякой корысти, проявляли настоящую озабоченность судьбой страны и людей её при разговоре с Иваном после лекций или докладов.

– Скажите, Иван Акимович, возможна ли сейчас Третья мировая война? – спросил тракторист Семён.

– Нет! – однозначно ответил Иван. – Испытания водородной бомбы поставили мир на край пропасти, гибели! Мало кто знает, что началась цепная реакция и взрыв стал пожирать кислород атмосферы! Это был бы конец. Но неожиданно цепная реакция прекратилась! Остановилась! Хорошо, заряд бомбы сделали в два раза меньше, чем задумывалось изначально!

– Но если американцы первыми нанесут удар, мы же ответим? – настаивал Семён.

– Нет! Никогда! Ни в коем случае! Поедем и будем договариваться!

Тут удивились вся оставшаяся после лекции группа, человек из десяти сельских коммунистов.

– Да! Да! Наши руководители в первую очередь захотят этого больше всего и больше всех! Не будем скрывать, что они живут хорошо. У Ленина после смерти было на счету около одного миллиона долларов, а у Сталина – два!

Все ахнули, а Иван испугался, что завтра он будет уже отвечать на вопросы в КГБ, писать не объяснительную записку, а протокол допроса, как он почерпнул эти знания из антисоветской литературы, и как минимум прощаться с партийным билетом. Но проблема его была в том, что люди, неожиданно бросившие пить, сразу становятся смелыми и критичными по отношению к власти. Потому что думают, что если они пили и их не увольняли с работы, то как сейчас и за что могут уволить, если человек не пьёт и не прогуливает, а за партийный билет ещё можно будет побороться. Но он всё равно решил смягчить свои тезисы и легко перевёл разговор в более удобное русло:

– Я бы на месте партийного аппарата сделал по-другому, даже очень просто. Главкомандующий должен отдать приказ, и две атомные подводные лодки всплывут у восточного и западного берегов Америки с полным боекомплектом ядерных ракет. Моряки выходят на поверхность лодок – назовём это палубой, и пляшут матросский танец яблочко, а один держит бикфордов шнур и зажигалку. Вот смотрите, американцы: взрыв двух подводных лодок с одного и другого берегов Америки уничтожит сразу и навсегда материк, его зальют Атлантический и Тихий океаны, потому что уровень земли вашей части суши ниже уровня обоих океанов! – злорадно подвёл итог Иван как настоящий коммунист, и теперь партбилет, решил он, не отберут.

– Ну а как быть с социалистическим укладом экономики? Американцы живут лучше нас. Везде пишут: догоним и перегоним Америку! – встряла в разговор доярка Рая.

– Думаю, что будет смешанная экономика. Можешь быть частником – иди работай. Не получилось – давай, миленький, возвращайся, – ухмыльнулся Иван.

– И что, это всё при однопартийной системе?! – засомневался третий слушатель, которого Иван не запомнил и не знал, кто он и откуда.

– Коммунистических партий может быть и две, и три. Пусть смело говорят о недостатках друг друга, а народ выберет, кому править! – Тут Иван понял, что его опять заносит, и решил партийный форум закончить. – Извините, товарищи, ещё до дому далеко добираться.

Возле школы его ждал вороной жеребец с бричкой, где он специально его привязал, подальше от глаз сельских коммунистов, чтобы не подумали, что он использует в личных целях государственное имущество, в том числе коня.

Но счастье Зинаиды длилось недолго – ровно столько, сколько Иван принимал таблетки, которые дала ему Эмма Генриховна, их ему хватило на месяц. И Зинаида за это время успела заметить, что у него стали слишком узкие зрачки и непохожее на его обычное поведение. Адрес этого счастья она хорошо знала. И в один из обычных дней она вышла из амбулатории, прошла дворами двухэтажной больницы, мимо нового кинотеатра, который был от неё по левую руку, а по правую – почта, вышла на ту улицу, где была большая красивая деревенская аптека с высоким стеклянным витражом. Говорили, что Эмма Генриховна на этот витраж потратила собственные деньги, чтобы он радовал её и всех, кто будет приходить в аптеку.

Встреча с Эммой оказалась не такой, какой Зинаида её себе представляла. Она увидела перед собой настолько красивую женщину, что невольно стала вспоминать, видела ли она когда-нибудь такую красоту в настоящей жизни или даже в кино, и не могла припомнить. И эта красота женского лица и точёной фигуры сбивала её с толку и уводила от тех слов, какие она собиралась сказать. А хотела она сказать, что Иван с лёгкой руки этой подлой женщины употребляет какие-то таблетки странного содержания и воздействия на него, что, возможно, это наркотики и она, Зинаида, будет вынуждена поехать в Саратов, в приёмную КГБ. Она слышала о причастности Эммы в прошлом к этой конторе, и она, Зинаида, всё об этом расскажет там. Но ничего этого в этот раз она не сказала Эмме, не смогла произнести ни слова, и пауза молчания между двумя женщинами затянулась слишком надолго. Эмма предложила чаю. Зинаида попросила воды, и выпила залпом почти полный стакан, и осторожно, на ощупь, как ходят слепые люди, пошла на выход. Эмма шла за ней и, подбирая нужные слова, спросила:

– Зачем вы приходили? Вы что-то хотели?

– Уже ничего! – задумчиво ответила Зинаида.

А в доме у Шабаловых снова начался кошмар. Иван каждую ночь орал, надрывая горло и связки, отчего у него на шее надувались вены и краснело лицо:

– Батарея, огонь! Не пройдут!.. мать их! Анята... ты плачешь... прости меня!.. Прости!

Зинаиде приходилось будить мужа, потому что его крик переходил в состояние, похожее на эпилептический припадок, когда он бился в судорогах, как безумный, и изо рта у него шла серая пена, и он мог, чего боялась в это время Зинаида, откусить себе язык. Она давно поняла, что у него кончились таблетки. Но боялась на этот счёт что-то сказать, потому что Иван будет её бить. Она хотела и думала, что Иван переболеет, переломит себя, выйдет, возможно, из наркотической зависимости или только забвения в результате абстинентного синдрома – синдрома резкой отмены, ведь зависимость не могла ещё развиваться. Она догадывалась, что он их принимает не слишком долго, и на самом деле это было правдой. Ей стало это понятно окончательно, когда она сходила к Эмме, и теперь у неё теплилась надежда, что вдруг та знает, как лечить «русскую болезнь». Ведь о ней недаром ходили разные колдовские слухи. И, может, немцы давно уже нашли такую таблетку, и вовсе это окажется не наркотик, а лекарство, и муж навсегда перестанет пить и курить. К ним опять вернётся счастье, которое длилось у них несколько дней, подумала Зинаида, но тогда пусть придёт другая жизнь, она родит ему второго ребёнка,

ведь они ещё молоды и им не поздно начать всё заново, с чистого листа, и разжечь снова огонь любви и очаг семейного счастья.

Но Иван в очередной раз неумолимо двинулся к Эмме. Он шёл пешком, шёл быстро, торопился, и тех, кто ему попадался навстречу и здоровался с ним, он не замечал, но в ответ говорил «здравствуйте» или «здорово», в зависимости от того, слышал он женский голос или мужской. По улицам Кобелёвке и Орловке он шёл быстро, почти бежал. Здесь у него уже было столько знакомых, что он неслучайно прибавил ход, чтобы никого не видеть, но вольно или невольно всё равно попадались прохожие, хорошо знавшие его, останавливались и недоумённо оглядывались назад, обращая внимание на его ужасный вид, хмурый, со злобным взглядом исподлобья, с большими чёрными кругами под глазами. Потом он вышел к домам, стоявшим у реки, здесь у них был с Зинаидой второй огород, а первый – возле дома, на которых они выращивали картошку. Затем длинный путь вдоль реки, снова дома – эти стояли прямо на высоком берегу. Наконец, школа справа и скобяной магазин с мужем Касьянихи. Слева – амбулатория, детский сад, ясли. Дальше, справа, больница, а слева – старый клуб и дома, где жили хирург Москвичёв с семьёй. Но Иван сквозь смуту происходящих событий, которые закрывали ему сейчас сознание и здравый смысл, всё равно понимал, что ему никак нельзя встречаться с Зинаидой, поэтому он резко взял вправо. По пути справа от него опять была школа, её фасад, здесь он уже резко свернул влево, на большую главную дорогу в самом центре села. Не успевая оглядеться и подумать, как на фронте, фиксируя одним взглядом, словно сквозь подзорную трубу или в бинокль, оценивал сразу всё поле зрения, вращая головой, как перископом подводной лодки... Да, он понял, что идёт правильно к цели. Слева от него теперь уже стоял дом Сашки Шалагаева, начальника сельского аэропорта, как это ни громко звучит. Потом будет почта и новый клуб, но он уже знает, что от почты нужно свернуть вправо, и он сворачивает, и здесь, по правой стороне улицы, наконец находит красиво оформленную витрину аптеки и переводит дух...

Эмма как будто его ждала, она словно знала, что он придёт. Конечно, это было нетрудно просчитать: она знала, что он придёт, когда кончатся таблетки, но снова играть в эту игру она не хотела и не могла. Она боялась. Она прочувствовала слова Зинаиды, словно услышала их, хотя та и молчала. Она поверила, что Зинаида действительно сообщит в контору, и не тем руководителям, которые были давно у руля, а тем, которые есть у неё условно теперь, и они помогали ей с устройством в жизни и на работу в аптеку на её родине – в красивом селе Бакуры.

Ей не нужны были скандалы. Ей нужно было тихо и спокойно дожить свою жизнь. Кроме неё никого уже из их рода не осталось, чтобы ухаживать за могилами всех Раппопортов и Франкфуртов. Они были предками и составляли для неё родословную. Все бы жили и продолжали их род в этой сказочной глухой русской деревне, если бы не две мировые войны, оборвавшие жизнь последних наследников, кроме неё. Но она поняла, что продолжить свой род ей не удастся теперь никогда. Иван стоял напротив неё, глядя налившимися кровью бычьими глазами через прилавок аптеки, а она отводила свой взгляд в сторону, рассказывая, как она хотела помочь ему бросить пить. Когда он понял, что таблеток больше не будет, он перепрыгнул, скорее даже перемахнул или перелетел, через прилавок, достаточно высокий. Отшвырнул Эмму и прошёл в её комнаты, которые соединялись изнутри с аптекой, нашёл старый военный чемодан, в нём она хранила фашистскую форму СС, и вышел вместе с чемоданом через другую дверь, которая вела из квартиры во двор. Он не пошёл старой дорогой, а быстро стал уходить на южную сторону села, получалось – в сторону роддома, вдоль множества построек и домов, и брал всё левее и левее, направляясь дальше в сторону маслозавода на запад. И вышел через длинный путь к колхозным и совхозным фермам и конюшням. И, пройдя дальше и оставляя их слева от себя, наконец ступил на земляную насыпь, как на плотину через всё колхозное поле, специальное дорожное возвышение, чтобы не тонули повозки, телеги и машины в мягком грунте колхозных полей, и дошёл к новому, достраиваемому маслозаводу, на самый берег

реки Сердобы. Оставил чемодан возле воды. На старом заводе из машины взял канистру с бензином, облил чемодан с гестаповской формой и поджѐг всё это имущество честной немки. Она хранила чемодан с формой, потому что это была та единственная нить, которая связывала её с молодостью, с прошлым и со всей её жизнью. Другой жизни у неё не было и не могло уже быть. У неё не было настоящей молодости и счастья, у неё не было фотографий, которые хранят русские девушки всю жизнь и ими дорожат и хвалятся. Долгое время она жила под чужим именем и с чужой судьбой, с чужой легендой о себе. А на самом деле она была героической советской разведчицей, сделавшей так много для этой страны и для этого и для других Иванов, который презирал её сейчас и ненавидел. И может быть, только за то, что у неё сохранилась немецкая форма, или за то, что она желала помочь ему бросить пить. Она хотела, чтобы он начал новую жизнь, освободился от страшной болезни, от её зависимости, забыл про алкоголизм навсегда. Она дала ему те таблетки, что сохранились у неё ещё со времён работы в тайной лаборатории, которые, по её мнению, смогли бы помочь ему осознать весь трагизм своей тяжѐлой, хронической и плохо поддающейся излечению болезни и повлиять на его сознание и разум.

Когда Иван бросил пить, по деревне ходили слухи, что Эмма настоящая ведьма, она знает секрет человеческого счастья и горя. Но когда Иван сжѐг её форму, стали ходить другие слухи – что у неё было две человеческие кожи, как два комбинезона. Фашисты, мол, давно научились это делать; одна настоящая – её, и иная – кожа молодой красивой девушки, которую она надевала и была для всех молодой и красивой, но теперь она неожиданно появилась за прилавком аптеки и выглядела жѐлтой, сморщенной и старой.

В деревне верили и не верили этому, но всё равно боялись даже ходить в сторону аптеки.

Жалели Ивана и сочувствовали ему, ведь теперь, думали все, она снова нашла на него порчу, и он будет пить, и погубит себя, и искалечит жизнь жене и сыну.

Вовку в деревне тоже жалели и любили, как и Зинаиду. А Вовка по-настоящему полюбил деревню, свою малую родину, хотя тогда он ещё плохо понимал и различал значения слов «малая и большая родина», потому что редко куда ездил. Возили его в Екатериновку на грузовой машине, которую ужасно трясло на ухабах не асфальтированных дорог, и его всегда тошнило и рвало, как будто выворачивало желудок наизнанку. Летал на кукурузнике в Саратов, но его и там ещё хуже тошнило и рвало, потому что остановиться и выйти, как из машины, подышать свежим воздухом было невозможно. Поэтому в самолёте давали чѐрный, из плотной бумаги пакет, а если нужно, и два, и три, и вот Вовка их до Саратова наполнял «своим содержимым».

– Да, – говорил отец, – лѐтчиком ты точно не станешь.

Но он полюбил широкие поля и леса, покрытые густой зеленью летом, а весной – разноцветьем от белого и сиреневого до розового и красного цветущего перелива, наполняясь всеми цветами радуги и оттенками всех проявлений цвета самой природы. Зимой всё село покрывалось снегом, толстым слоем с синеватым оттенком, и плотный тулуп снежного покрова хранил и укрывал бакурскую землю от сильных морозов.

Вовка любил ясли, детский сад, особенно сильно он запомнил детский сад, где была воспитательница – молодая и красивая Людмила Валерьевна, не имевшая на то время семьи и своих детей и отдававшая все нежные свои материнские чувства и часть жизни на воспитание сельских детишек. Вовка иногда по-детски думал и жалел, что у них большая разница в возрасте. Воспитательница ему нравилась так сильно, что если бы он мог сразу вырасти и стать большим, он полюбил бы её, как любят друг друга взрослые люди – мужчины и женщины, хотя он думал об этом не оттого, что знал «взрослую» любовь, а потому что ему так хотелось, через сознание детского восприятия. Его детская душа, уже пострадавшая от сложностей в семейной жизни, где он наглядился на родителей, росла и мужала. Он хотел стать сильным, стать личностью с натурой настоящего человека, закалённого деревенской жизнью, несмотря на то что он был неказистым, слабым, с тяжѐлыми последствиями рахита, с ослабленным слухом.

Потом ему выставят безжалостные диагнозы гиперметропия, астигматизм, нистагм – это всё относилось к тому, что он от рождения был слабовидящим, и станет быстро очкариком, стесняясь этого и переживая, и долго не будет носить очки и из-за этого больше терять зрение, и оно у него будет падать ещё быстрее.

Но любовь к деревенской жизни, память о её людях, неутомимых тружениках, тёплые воспоминания о Людмиле Валерьевне останутся у него на всю жизнь.

Сами бакурчане, деревенский клуб, куда он бегал много раз смотреть «Неуловимых мстителей», колхозные поля, многие из которых лежали прямо позади домов, и он легко уже различал пшеницу, рожь, овёс, – ему всё это нравилось. Он заходил на середину поля, ложился прямо на этот жёлтый или зелёный ковёр и мог часами глядеть в голубое небо с плывущими по нему облаками. Они меняли свою форму, напоминая ему разных животных или, чаще, корабли и машины. Всё это по отдельности или вместе накладывалось на его память и душу. Оставалось навсегда нескончаемым счастьем и несмываемым впечатлением детского восторга и становилось ключевой чертой характера от силы своего восприятия. Он формировался и становился одновременно жёстким и добрым, порою сильным, а иногда слабым, но не раз Вовка клялся самому себе, что никогда не станет пьющим или нечестным, злым или мстительным или позволит себе забыть когда-нибудь любовь и заботу своей матери, родившей его на просторах малой родины – на бакурской земле.

В одну из зим снег покрыл деревню под самые крыши домов, а некоторые постройки занёс полностью. К несчастью, после таких зим случались сильные наводнения. Но такие зимы сами по себе были по-особому хороши. Это была одна большая сказка, а вид деревни становился проявлением богатой фантазии самого Создателя. Всё гениальное и красивое, о чём уже стал задумываться и Вовка, природа сочиняла и писала сама, где кисть или перо были в руках провидения. И только кому-нибудь это нужно было увидеть, и оно появлялось на бессмертных холстах великих художников: Левитана, Саврасова, Серова или других мастеров гениальных полотен...

Необыкновенное чудо поражало воображение сельчан: пушистые ветви деревьев, сероватый тёплый дымок вился из больших великанов-сугробов, под снегом которых скрылись бревенчатые избы, обогреваемые жаром русских печей, испускавших этот дымок... Как будто всё говорило: смотрите, скоро и этого не будет, всё растает, когда придёт весна, ничто в этом мире не вечно, красота мимолётна, но незабываема в человеческих воспоминаниях, застывшая в памятных образах великих произведений...

Вот в такую зиму Вовка позвал соседа Юрку, сына Сиротиных, ставшего ему другом, прыгать с крыши домов и сараев в огромные сугробы, и через час они стали мокрыми до последней нитки. Сушиться пошли к Вовке. Иван не жалел угля, топил много: антрацит был на заводе главным топливом, он брал его сколько хотел. Одно плохо, что печь у них была слабой, места занимала много, но никогда не нагревалась так, чтобы рука не могла терпеть, если её приложить в зале или в спальне, куда выходили боковины и углы печи. Известный в деревне печник, которого вызывали, чтобы он чем-то помог, обычно долго возился с печью Шабаловых, потом беспомощно разводил руками и предлагал сложить печь заново, по-другому, как у Дуни, а он клал и у неё такую же русскую печь, и топили её дровами да киззяками, а не антрацитом. Жара была несусветная. А на самой печи можно было лежать и лечить радикулит. А какие щи да каши запаривала Дуня – не пересказать словами, а тыква из печи, когда приходили Иван вместе с Зинаидой и Вовкой, чтобы погреться в сильные морозы, была необыкновенным лакомством: она становилась коричневой и сладкой, как конфеты ириски, что особенно любили Вовка и подросший внук Дуни Женька.

Пока Юрка и Вовка сушили мокрые штаны и куртки, вздумалось им поиграть в резиновый мяч, и, на горе Вовки, попали они в будильник, что стоял на лепной подставке, висевшей пока на временном месте на стене, на одном вбитом гвоздике. Таких подставок-лепнин,

похожих на работу эпохи Возрождения, у Ивана было много, в каждой комнате не по одной. На каждую из них Иван старался поставить фигурки красивых женщин, иногда полуобнажённых, а на одной уже стоял Тарас Бульба, привязанный к дереву и охваченный пламенем огня, с реальной достоверностью описанных Гоголем событий. Огонь, конечно, был ненастоящим, в керамическом изваянии. А будильник, что упал и разбился, был настоящим, простым и дешёвым и стоял на этом месте только потому, что Иван ещё не приобрёл и не подобрал достойного персонажа, который понравился бы ему, когда он поставит его туда, где будет видеть красоту и испытывать душевное удовольствие.

Иван пришёл домой в этот день необычно рано – конечно, это было случайностью, он не приходил никогда в это время. Всё сложилось не в пользу Вовки: и разбитый будильник, и раннее появление отца, и мокрые от снега штаны; и то, что будильник сбил не он, а Юрка, не меняло ситуации в лучшую сторону, ведь разрешил играть в мяч в своём доме Вовка...

Иван выпроводил Юрку домой. А Вовку, своего родного сына, держа одной рукой сзади за шею, стал хлестать ремнём, который снял прямо здесь со своих брюк. Брюки спали с него, сложившись до колен в гармошку, а выше колен его бёдра закрывали длинные, синие, из ситца, семейные трусы, какие продавались тогда в магазине или шили ему портнихи Тоня с Фросей, и тогда часто добавлялись к синим по цвету ещё и чёрные трусы. Иван жестоко порол своего сына по голой спине, ягодицам, ногам, задыхаясь от злости. Вовка сжимал зубы и вспоминал строки из повести «Тарас Бульба», которую читал ему недавно сам Иван, где отец говорит сыну: «Я тебя породил, я тебя и убью!» У Вовки мелькнула мысль, что отец невзначай может запороть его насмерть, потому что в один из ударов он чуть не потерял сознание. Он мучительно переносил хлесткие удары кожаным ремнём, а у Ивана всегда были добротные ремни из настоящей кожи, хорошие и крепкие, хоть вешайся на них, как любил говорить он другим. На войне в рукопашном бою он задушил таким же ремнём фашиста и этим иногда хвалился сыну. Вовка не кричал, не рыдал, не просил пощады, потому что уже не в первый раз отец учил его так жизни, но сдерживать слёзы, которые сами катились из глаз, он не мог...

Потом он, не в силах согнуться, с большим трудом натянул спущенные штаны, которые он переделал, а не те, что были мокрыми от прыжков в сугробы... Но он почувствовал, что и эти штаны тоже стали мокрыми, но ему не хотелось в это верить и признаваться даже самому себе: ему было стыдно. Неужели он не выдержал боли, ведь в прошлый раз он выдержал, но тогда дома была мать, которая вступилась за него, а сегодня её не было, и отец бил его так, как будто и за этот, и за прошлый раз, словно хотел сравнять и суммировать наказания.

Вовка качаясь дошёл до кровати, не понимая, что она не его, а родителей, и упал на живот, потому что на спине он лежать не смог бы. Вся его спина, ягодицы и бёдра были исполосованы красными, бордовыми и синюшными кровоподтёками и ссадинами в виде ободранной кожи, горизонтальных полос, ложившихся друг на друга, с отделяющейся сукровицей, которая начинала засыхать и запекаться, образуя бурые корочки.

Почему так случилось и происходило уже не в первый раз, Иван не мог объяснить даже себе. Нельзя было сказать о нём, что он жадный и неисправимый скряга, что мог пожалеть дешёвый будильник и лепные подставки на стенах, тем более они не пострадали. Каждую подставку он привозил из Саратова в разные заезды и трогательно заматывал в мягкую тряпицу, чтобы не откололся даже краешек, не говоря уже о кончике носа, что нечаянно откололся у бюста Пушкина. Конечно, не могло быть и речи, чтобы разбить что-то из того, что оберегалось неистово, как и всё то, что приобреталось в дом и в семью. А пил он за заводское сливочное масло, где не была исключением и Эльвира, его первая жена с детьми после развода, ведь просчитать деньги от украденного масла было невозможно, поэтому деньги на неё копились тоже с неучтённого масла, так как Зинаида никогда не смогла бы узнать или просчитать правду, или, правильнее сказать, неучтённые доходы.

Он искал и находил себе оправдание, что был всегда бедным, вышел из трущоб и что каждая копейка достаётся ему с трудом. И он не сможет заставить себя забыть об этом никогда, поэтому он вколачивал своему сыну запомнить раз и навсегда, а значит на всю жизнь, что дело не в том, что каждая копейка рубль бережёт, а в том, что достаётся она бедному человеку потом и кровью.

Может, всё это было бы и так, но каждый раз от таких «нравоучений» малолетнего сына он страдал и сам, как приговорённый к высшей мере наказания преступник, до физических невероятных болей в теле и ненавидел себя, потому что чувствовал, что превращается в отца Акима – такого же алкаша и садиста.

Вовка не таил и не накапливал зла на отца и не хотел даже думать, как могут размышлять в таких случаях другие дети: «Вырасту, убью за всё»... Он пытался оценить ситуацию шире и глубже: что, может, он действительно ещё не понимает, что такое взрослая жизнь, что такое деньги для жизни и что вообще означают деньги в более широком смысле представления о них.

Но от побоев и подзатыльников он становился другим, в нём вырастало что-то большее, что он не мог ещё объяснить себе сам, осознать. В нём рос тот сильный духом и нутром человек-камень. Он чувствовал, что нет на свете такой силы, которая сможет сломить его силу и внутреннее, самое глубокое, ощущение того, что он – Человек, как Маугли, о котором ему уже прочитал отец из известной повести. Да, Человек, и выше и сильнее этого он не мог больше никого назвать, вспоминая всех из своей недолгой жизни.

А Иван боролся с собой и не мог понять, откуда и почему он черствеет и грубеет даже к собственному сыну, хотя на фронте жалел и взрослых и детей, подобных себе и своему ребёнку.

И зачем и почему, думал он и проклинал себя, за какие грехи и муки он наказал несчастную Эмму? Ведь её сохранившаяся строгая немецкая форма – это дань уважения не фашизму, а всей своей жизни, молодой и красивой женщины, посвятившей себя служению России, ставшей, в конце концов, и её родиной и родным домом. Она не успела всем этим насладиться, и полюбить, и даже запомнить, ведь много лет провела за границей. А потом много лет пребывала в состоянии человека-зомби по специальным лечебницам КГБ и приехала одна в Бакуры незадолго до приезда Ивана. И она не виновата, что полюбила его, а он был женат и много пил. Она без остатка отдала своё здоровье и свою жизнь за свободу этой самой родины, где жили волею судьбы её предки, и боролась до конца с фашизмом, и то, что осталась живой, было случайностью или чудом, которое она не смогла бы объяснить теперь никому.

И сейчас Иван готов был встать перед ней на колени, и просить прощения, и целовать ей ноги, и принять любую кару от советской разведки за то, что обидел её героическую дочь.

Он не был таким, и он не мог вспомнить, когда и почему таким стал – жестокосердным! Совсем ещё недавно, как казалось ему, он был другим и готов был любить и жалеть каждого...

Зима началась по-особому: снег выпал поздно, а морозы ударили рано и неожиданно сковали речку льдом. Лёд был прозрачным, и через него, как через большое окно, можно было смотреть на бегущую воду, словно вечный и нескончаемый поток жизни. Там, подо льдом, проплывали рыбки, напоминавшие о превратностях судьбы, о том, что жизнь продолжается даже там, подо льдом, при низкой температуре, но она снова закипит и расцветёт по весне, когда сойдёт лёд и река разольётся бурным половодьем, напоминая о нескончаемости бытия и радости весеннего благоденствия как символа познания бессмертия жизни.

Мы вернулись к одному событию, чтобы вспомнить об Иване что-то хорошее, потому что этого хорошего становилось почему-то всё меньше и меньше...

Это был обычный воскресный день, когда Петька Сиротин кричал Ивану через забор, чтобы тот выходил, и Иван подумал ненароком, что случилось что-то невероятное и страшное. И Петька сообщил, что тамбовские браконьеры устроили охоту по бакурским лесам. Лоси пошли стадами и табунами в деревню – искать защиты у людей, у бакурчан, которые

их не отстреливали, а, наоборот, в холодные зимы подкармливали. А у Кати Волковой как-то осиротевший лосёнок проживёт всю зиму и уйдёт в лес только весной. Бакурские мужики давно отстреляли всех волков, теперь они не мучили и не нападали на стада коров и отары овец, ну и на людей тоже не нападали. Лосей поэтому развелось много, но их решено было не трогать, так они и жили свободно и легко, пока не узнали браконьеры из соседних районов и областей. Такой вот молодой лосёнок, в бегах потерявший родителей, спускаясь с крутого противоположного берега реки, растянулся на льду, разложив все четыре ноги в разные стороны, распластался и не мог подняться, встать и уйти – был лёгкой добычей. Первым его увидел отец Петьки Тихон, который служил и воевал на разных фронтах XX столетия, был, говорили, даже снайпером, глаз у него намётанный, глаз-алмаз, как он шутил о себе сам. Иван разделся до телогрейки, ему привязали к одной ноге верёвку, и он по-пластунски, держа второй конец верёвки у себя в руке, пополз к лосёнку, чтобы подвязать его и вытащить на берег. Ивана вязали на всякий случай, если лёд не выдержит и он провалится в воду, чтобы вытащить его и не дать уйти под лёд и утонуть. Несчастный и испуганный до смерти лосёнок перестал бить копытами и притих, понимая, что к нему идёт, а точнее, ползёт помощь, потому что идти было опасно, лёд ещё не окреп и в некоторых местах был тонким и мог подломиться. Лосёнок смотрел в глаза Ивану грустным взглядом, утыкался в лёд тупыми круглыми ноздрями, на которых заиндевели пары тёплого дыхания.

Тихон был высокий, здоровый, сын его Петька под стать ему, оба тяжёлые по весу, поэтому ползти пришлось Ивану, хотя это было и так ясно, так что даже и не обсуждалось. Ивана и лося они легко вытащили на свой пологий берег. Петька достал из внутреннего кармана бутылку самогона и протянул Ивану – для «сугрева». Тихон посмотрел на сына с укоризной, но говорить ничего не стал. А Иван, вспоминая потом этот случай, думал, что Петька – сволочь, это он его снова соблазнил. Ведь после таблеток Эммы он долго не пил. И если Зинаида думалось, что это могли быть наркотики, то Иван глубоко верил в другое: что давно уже хитрые «бюргеры» изобрели и нашли такие пилюли от алкоголизма, потому и не болеют они похмельем, а пьют пиво с сосисками сколько хотят и не спиваются, как русские. Он тогда ещё подумал, что попросит у неё прощения. И она, от большой любви к нему, обязательно простит его, и он будет пить втихомолку эти таблетки, как хитрый «бюргер», и забудет злую самогонку, а лишь по праздникам станет промывать пивом своё иссохшее за это время нутро и снова работать на благо семьи и отчизны. Но сейчас он взял бутылку самогонки из рук Петьки, предложил выпить на троих, но Тихон и Петька заспешили домой, сославшись на неотложные дела. А Иван остался с бутылкой самогона на берегу реки Сердобы, подо льдом которой текли «сердобольные» слёзы русских баб, чьи мужья продолжали тоже пить эту отраву, как и Иван, и не могли легко избавиться от соблазна зелёного змия.

Иван оказался наедине с молодым лосёнком, потому что тот не мог быстро уйти: у него так долго были в растянутом состоянии ноги, что затекли, опухли и болели, и он выжидал время, отходил. Иван его не торопил, не прогонял в лес, он был уверен, что рядом с ним никакой браконьер не посмеет убить его спасённого лосёнка, потому что Иван порвёт того браконьера на куски – силы у него было хоть отбавляй.

Лосёнок смотрел на Ивана, не сводя глаз, будто между ними образовалась какая-то связь или немой диалог. Тот допил Петькину бутылку и ему было стыдно, что промолчал о своих запасах, потому что он тоже принёс из дома бутылку с самогоном, а предлагал на троих – чужую. Теперь он достал свою и залпом её выпил из горла, потому что остерегался, что они вернутся или случайно увидят его заначку и нехорошо подумают о нём, а он совсем не такой... никогда ведь не прятал на фронте от друзей горбушку хлеба.

Но стал замечать за собой в последнее время, что чем больше он пьёт, тем сильнее у него появляется жадность к алкоголю, словно какая-то ненасытность развивается и появляется в нём, и именно к спиртному. Зинаида знала про этот симптом алкоголика, которому надо

напиться всегда до последней стадии, до потери сознания. Иван напился как зюзя, его сильно развезло, видно оттого, что пил на голодный желудок. Тут он начал слышать чьи-то голоса, в том числе и лося, но ему хотелось его опередить и сказать первым.

– Сейчас уйдёшь... Постой ещё... Тихон соберёт бакурских охотников, и накажут браконьеров, – заплетающимся языком бубнил пьяный Иван.

– Не пей! Себя убиваешь, как браконьер... Сестру не нашёл, детей Эльвиры от первого брака не видишь... Жену и сына бьёшь, – такие слова Иван услышал от лося.

– Уйди, дурак, много ты знаешь... – Он ткнул кулаком лосёнка в морду и пошёл в другую сторону от него, а лось повернулся к лесу и тоже медленно зашагал.

После этого прошло время, выпал большой снег. Зинаида увидела окровавленную спину Вовки и закричала, срываясь в истерику:

– Зверь! Зверь! Ты зверь! Ты уже не человек!

Конечно, она всё ещё боялась мужа, но это была уже та Зинаида и та зима, о которой мы говорили, что вначале не было снега и лоси бежали от браконьеров, а потом его навалило так много, что Вовка с Юркой прыгали с крыш в сугробы.

Вовку испугало такое начало, что мать называла отца зверем, лучше бы она ругала его за разбитый будильник. Ведь он помнил и знал, что совсем ещё недавно, когда Зинаида пыталась призвать Ивана к совести, хотела внушить ему правду о вреде алкоголя, скандал сложился так, что Иван рассвирепел, и в этом шуме и гаме их спора он ударил её и попал прямо в нос. Кровь текла так, будто её лили из банки. Происходило всё это в спальне, где вдоль одной из сторон печки стоял кожаный топчан, больше похожий на больничную кушетку. Все события происходили в присутствии сына. Зинаида от испуга и неожиданности вскочила на этот топчан, чтобы Иван снова не попал ей по лицу, а хуже – по разбитому уже носу. А Иван, несмотря на свой небольшой рост, ухитрился подпрыгивать, как разъярённый горный козёл, и наносить удары Зинаиде по телу, по лицу, попадая в том числе и по носу. Поверхность кушетки менее чем за минуту забрызгало и залило кровью, и казалось, её так много, что Вовка решил: крови у матери наполовину стало меньше, и она от этого может умереть. Он метался вдоль кушетки, растопырив руки, спиной закрывая кушетку-топчан, а грудь и лицо подставляя под кулаки отца. Но он никак не мог защитить мать, потому что был мал ростом и по-детски слаб. Тогда он от горя и испуга, переполнявших чувств упал на колени и что есть мочи заорал:

– Не тронь её! Меня убей! Слышишь?! Меня убей!

Этого хватило, чтобы Иван на какое-то время онемел и остановился. Он тяжело дышал, как хищный зверь. Он был словно тигр, настигший свою жертву после долгой погони и хватавший её за разные места, но больше всего – за шею, и словно рвал её на куски окровавленного мяса, вот-вот готовый убить, и прервать в ней жизнь, и утолить побеждённой жертвой свой голод и звериный инстинкт.

За несколько секунд Зинаида перевела дух, схватила под мышку Вовку и выбежала с ним на улицу под проливной дождь. Была осень, и на улице уже смеркалось. Иван, ещё не утихший, разъярённый, с хищным оскалом, также вышел на крыльцо и начал выкрикивать в адрес Зинаиды гадкие, пошлые, грязные обвинения лишь только для того, чтобы как-то оправдать своё позорное буйство, и назло Зинаиде оскорблял её нецензурными словами. Ей было так стыдно перед соседями, перед сыном, что она даже забыла про физическую боль и пыталась остановить и вразумить Ивана, но при этом стояла за забором, прикрыв калитку, держа бесстрашного мальчишку Вовку за руку, готовая убежать с ним, если Иван вдруг надумает продолжить погоню и избиение.

Мокрая, в слезах и крови, пытаясь не замарать кровью малолетнего сынишку, она хотела только одного: чтобы Иван опомнился. Но Иван, выпивший до этого уже приличную дозу алкоголя, становился только злее и агрессивнее. И, конечно, пьянел с каждой минутой всё больше и больше, потому что злость и ярость учащали его звериное сердцебиение, которое перегоняло

кровь сильнее и быстрее по всему организму и разносило в каждую клеточку, в том числе в печень и в мозг, проклятый для русского народа самогон.

Иван, поворачиваясь на крыльце к выходу, чуть не свалился, и тут Зинаида почему-то вздрогнула, испугавшись, вероятно, что он сейчас упадёт и сломает себе шею. Но этого не случилось. И она поймала себя на мысли, что она хочет, чтобы он жил, и бросать его сама не собиралась. И он, как ванька-встанька, падая на веранде, в сенях и далее по ходу своего движения, цепляясь за стены, косяки, дверные проёмы, за мебель, падал и вставал. И уже на автопилоте двигался к своей кровати, чтобы как обычно, когда ему никто не мешал, рухнуть в чистые простыни и наволочки в чём есть, как он чаще всего и до этого делал – приходил и заваливался в белую постель грязным и в рвотных массах...

Он провалился в глубокий алкогольно-наркотический сон до утра, не в силах, находясь в полном беспамятстве, встать и опорожнить свой мочевого пузыря. От этого, что он не доходил до туалета и не пытался, он превращал чистое стираное белое постельное бельё в жёлтое и загаженное, будто старое от времени, что очень старательно стирала и кипятила Зинаида. Оно становилось похожим на тряпки побирушек и попрошаек или тогда очень редких персонажей – бомжей. А ватные матрасы, перьевые подушки, перины и ватные одеяла промокали и сырели жёлтыми вонючими кругами, что очень подолгу сохли, и Зинаида стеснялась сушить их на улице, чтобы никто не увидел и не учуял запаха вони, она их даже прикрывала другим бельём для конспирации...

Теперь она осторожно входила в дом, тащила за собой Вовку, который упрасивал её пойти ночевать к Дуне, как они делали раньше. Но сейчас она тихо, как кошка, кралась по дому, прислушиваясь к храпу буйного мужа-алкоголика, и по его дыханию определяла, есть ли у них с сыном время до утра, чтобы прикорнуть в другой комнате.

Утром Зинаида снова напрягалась и ожидала момента выбежать со спящим сыном, если будет нужно, унося его под мышкой на улицу. Иван уже просыпался к этому времени и всю гремел кастрюлями на кухне, вероятно в поисках заначки – спрятанного и прибережённого на такой случай самогона – или, может быть, хотел выпить свиного бульона, а может, минералки: в это время его мучила жажда или, как он говорил сам, сушняк. Он с трудом пытался вспомнить прошедший вечер и сложить ясную и чёткую картину для себя, но не смог. Видя на кушетке кровь, он не желал встречаться с Зинаидой и как можно скорее хотел уйти из дома и ушёл, как это делал и раньше, но нередко в былые времена скандал мог продолжиться и утром, а хуже, когда не утихал до утра, начинаясь с вечера, – ей было страшно говорить и вспоминать об этом. Зинаида через окно проследила, как он уходит, и только тогда облегчённо перевела дух, давая Вовке выспаться, чтобы потом увести его в садик, а сама стала готовиться к работе.

Другой драматический эпизод, который застрянет в Вовкиной голове и памяти, останется трагическим воспоминанием на всю жизнь, а таких случаев в их жизни с отцом было и будет ещё много, и все они мало чем отличались друг от друга. Произошло это зимой. Иван поздно вечером принёс домой ящик ворованного масла. Он был в картонной упаковке со всеми штемпелями и маркировкой, нанесёнными тушью на заводе, чтобы трудно стереть. Расчёт был простым – сохранить обозначения: место, время изготовления, категорию и количество масла – при транспортировке и перекалывании ящиков на разных этапах его следования к пункту назначения – к покупателю.

Зимой темнело рано. Окна были незашторенными, и за ними была уже ночь. В кухне горел свет, топилась печь, но никто ещё не спал. Иван сдирал с масла упаковку, а картонные куски просил Вовку сжигать в печке. Здесь Зинаида и начала разговор, что Вовке лучше не знать и не присутствовать при этом, а Иван возражал.

– Пусть знает, чем пахнут деньги и как они достаются, – сказал он.

От Ивана снова разило самогоном. Разговор Ивана с Зинаидой накалялся, как чугунная плита, встроенная у них в печь с двумя конфорками, – и очень быстро. При этом Зинаида ещё переживала за здоровье и за жизнь сына. Тот открывал эти самые конфорки из круглых чугунных колец железной кочергой, засовывая в отверстие картон. А тот вспыхивал уже от раскалённой плиты, не успевая коснуться горящего угля, которые к этому времени были почти одинаково бордово-красными, и она боялась, что Вовка обожжёт себе руки или, хуже того, на нём вспыхнет одежда. Иван рассвирепел:

– Сама тогда делай! Не меньше жрёшь и денег тратишь!

Дальше уже трудно вспомнить и сказать, что стало последней каплей раздора, но предвидеть или предсказать этого никто не мог, даже сам Иван. Ни один из них в тот момент точно уже не помнил, что было на кухонном столе. На нём Иван рвал коробки из-под масла, а на самом видном месте лежал нож с большой деревянной ручкой из дорогого плотного красного морёного дуба, который он, вероятно, вытащил с самой нижней полки стола, чтобы помогать самому себе разделять и резать картонные коробки. Рукоятка у ножа была со всех сторон тёмно-бордовой, похожей по цвету на запёкшуюся кровь. А клинок, скошенный к острому концу, был ещё длиннее и страшнее по виду, заточенный с обеих сторон. Ничего необычного в том, что он оказался здесь, ни для кого не было. Шабаловы каждую зиму резали свиней и увозили их на рынок в Саратов. И это орудие производства для забойщиков было очень ценным. Каждый мастер по забою и разделке тушек в селе имел свой персональный набор инструментов, и чем выше и искуснее был уровень мастера, тем ценнее и дороже был у него сам инструмент.

Этот нож отковал Ивану ещё на фронте войсковой кузнец из стального штыка винтовки, и он с лёгкостью перерубал даже металлический прут толщиной в один сантиметр. Была на этом ноже и человеческая кровь. Иван об этом не любил рассказывать; война делала всех жестокими и бесчеловечными, ведь если не убиваешь ты, убивают тебя.

Иван сам никогда свиней не резал, тем более своих.

– Не могу, – говорил он, – кормишь их, за ухом чешешь, а потом они смотрят на тебя человеческими глазами...

Поэтому всегда приглашал мастеров по убойному делу со стороны. Но, как реликвию, он давал им свой заветный нож. Мастера его часто спрашивали, не из дамасской ли стали он сделан, Иван снисходительно улыбался и говорил:

– Не из дамасской. Но ещё лучше, чем дамасская сталь!

Мастера цокали языками и восхищались диковинным изделием, особенно когда Иван на глазах изумлённых мастеров перерубал металлический прут и показывал, что на лезвии ножа не осталось даже зазубрины.

И в этот вечер никто уже не помнил, как это случилось, что в ходе перепалки Ивана с Зинаидой он схватил злополучный нож и замахнулся на жену. Но Вовка в это время следил за отцом, тяжёлое предчувствие не покидало его весь вечер, он наблюдал за каждым движением рук, за наклонами туловища и движением ног отца, потому что его сразу в этот вечер всё стало настораживать и напрягать. Он молниеносно отреагировал на смертельный взмах руки, в которой был нож отца-фронтовика, даже не вздрогнул и не испугался, потому что, скорее всего, не успел – и был готов к такому развитию событий. А дальше сказать, что Вовка кинулся, как барс, или взлетел в воздух, как тигр в прыжке, или закрыл собой, как хищная чёрная пантера, всё смертельное пространство вокруг матери, значило бы ничего не сказать! Он был по виду и по сути немощный, физически неразвитый, с большой головой, кривыми ногами и тонкими ручонками – словом, настоящий рахитик. Но он оказался сильным духом изнутри, быстрее даже ракеты, быстрее самого барса, тигра, пантеры. Этого нельзя было объяснить наукой, можно, наверное, только объяснить тем, что он так сильно любил свою мать и сильно переживал за неё и за всё то, что могло угрожать её жизни и здоровью. Это было выше представления любого человека о силе и сути человеческого духа. Но в то же самое время он

бесконечно жалел и любил своего отца. Поэтому он вылетел из своего угла, как пуля. Вцепился двумя ручонками, и повис на предплечье Ивана, и посередине между своих тонких, но окаменевших рук впился зубами на весь прикус молочных зубов – их на то время у него было 12: он плохо рос и развивался. Впился он в плотную огрубевшую кожу руки отца, как будто хотел насквозь прокусить его предплечье или отгрызть его совсем! Как он летел в этом нагретом воздухе – а от его полёта воздух как будто действительно стал горячее и раскалённое, – не смог бы определить или объяснить этого ни один прибор. На то время таких приборов, скорее всего, даже и не было, а может, их нет и по сей день, чтобы объяснить природу духа человеческого величия, который сумел поднять и нести живое тело по воздуху, что описывают при левитации факиры, но мы их пока чаще называем, к своему стыду, почему-то шарлатанами. Ручонки его побелели, как обескровленные, а на пальчиках вокруг кутикул появилась даже синева, при этом ссохшиеся губы не смыкались, обнажая зубы, как у оскалившегося маленького упырёнка. Только кровь засочилась из руки Ивана. Зинаида с трудом оторвала сына, разжимая ему зубы и руки, и унесла с собой на улицу, где был сильный мороз – давно уже устоялась настоящая жёсткая русская зима.

Иван медленно опустился на колени и зарыдал, заорал, завыл, как шакал, как волк на стремнине или хромой бес перед осиновым колом. Ему казалось, что он хочет убить или казнить свою душу.

А Зинаида с Вовкой бежали к Дуне в сорокаградусный мороз в лёгкой домашней одежде. У Зинаиды на ногах не было ничего, кроме носков.

Сегодня, когда Вовка лежал с исполосованной спиной, ему меньше всего хотелось скандала. Ему не нужно было, чтобы из-за него начался сыр-бор, чтобы мать «воспитывала» и упрекала отца. Эти ссоры всегда заканчивались не в её пользу, перерастали в драку, в её избиение. А Вовка сегодня, в таком состоянии, не то что не мог защитить свою мать, суметь оказать помощь, хотя бы цепляться за руку отца, он даже не мог встать между ними, широко расставить руки и подставлять себя под кулаки отца. Спина его была как панцирь, который болезненно сковывал все его и так слабенькие силёнки.

Но к его счастью, вопреки тягостному предчувствию, новой драмы не произошло. В калитку, в дом с улицы кто-то сильно тарабанил, потом во входную дверь, потом в окна, и Иван, тяжело дыша, шатаясь, ослабев от длительного запоя, вышел на воздух, босиком на ледяное крыльцо.

Вовке с Зинаидой были слышны два мужских тихо шептавшихся голоса. Вернувшись, Иван быстро собрался, и они с неожиданным гостем, приехавшим на лошади, запряжённой в сани, сразу уехали куда-то.

Был этим гостем – Зинаида его всё же разглядела в окно – Сашка Шалагаев. Его жена была у них в больнице главной операционной сестрой. Зинаида давно уже с ней подружилась. Сашка работал, как мы уже упоминали, начальником аэропорта. Не пил, не курил, но у него была другая, безобидная страсть – он был голубятником. Разводил голубей, и его считали чудакотым в этом отношении среди когорты людей всех бакурских голубятников. Запускал он голубей и летом и зимой и свистел, не зная передыху, подолгу, до синевы щёк и губ, как ненормальный или малолетний пацан.

Аэропорт его состоял из небольшого домика – отделения, так сказать, для улетающих и встречающих посетителей. В этом доме он сам топил печку и мыл полы. На конце большого длинного шеста, как говорила Зинаида, мотался чулок Пеппи. Книгу «Пеппи Длинный чулок» она прочитала ещё в школе. Похоже, это было всё отчасти на то, как если бы у этого чулка отрезали пятку и носок, и теперь это больше напоминало трубу с полосками из плотной ткани, надуваемую потоками воздуха. И по её вращению, как по флюгеру, лётчики определяли основное направление движения ветра. Это был так называемый аэронавигационный мешок,

в народе и среди лётчиков прозванный колдуном. Как это было просто и примитивно, но кукурузник в Бакурах ни разу за всё время существования аэропорта не разбивался, может потому, что даже с выключенным двигателем самолёт легко садился и не требовал особой взлётной или посадочной полосы.

Взлётная полоса в бакурском аэропорту – это просторная зелёная лужайка, или поле, если хотите. С одной стороны будто специально оцепленная, огороженная лесом, а в конце полосы – небольшая постройка в виде сарая, когда-то служившая ангаром для некоторых самолётов, и громко теперь уж будет сказано – ангаром, скорее это было дощатым укрытием для самолётов от снежной бури. Сейчас всё поле и взлётная полоса были засыпаны толстым проваливающимся слоем снега. Колхозный тракторист уже с самого раннего утра расчищал взлётную полосу, и его сильно торопили важные люди, прилетевшие в Бакуры накануне этим же самолётом или этим же рейсом – потому что самолёт был один, что стоял теперь засыпанный снегом.

Зимой самолёты в Бакурах тоже летали, и вместо шасси на колёсах у них были полозья, как лыжи. Это всегда казалось Вовке смешным, и он с интересом наблюдал, как самолёт взлетал или садился на лыжах, словно дикий гусь приводнялся на реке или озере, выставляя впереди себя растопыренные красные лапы с перепонками.

Сашка Шалагаев сообщил Ивану страшную, как ему казалось, весть, что умерла Эмма и её не разрешили Москвичёву вскрывать – а он в деревне ещё был и патологоанатомом, если у него после операции умирал больной, он сам его вскрывал и выносил вердикт: правильно он всё сделал или нет. К сожалению, и по сей день эта служба подчиняется Министерству здравоохранения. Но нельзя сказать, было бы лучше, если бы подчинили её Минюсту. И поэтому, может, правильнее было бы, чтобы она как самостоятельная организация подчинялась только президенту, что сделали в Белоруссии. Но сейчас мы знаем, до чего довели страну судьи, которые тоже утверждают и снимаются только президентом, поэтому, дорогие мои сограждане, всем надо подчиняться только одному богу, и, может, правильно говорит Жириновский, что нет у него хозяина на земле.

Дальше Сашка Шалагаев рассказал Ивану, что прилетели из Саратова два важных человека в строгих одеждах и всё вокруг этого, как и саму смерть Эммы, засекретили. И теперь он говорил Ивану, под страхом увольнения с работы, что вскрывать её не могли позволить потому, что в её смерти, как и в её молодости, была какая-то тайна. И скорее всего, тело дальше переправят из Саратова в Москву.

Поэтому лошадь с санями он оставил далеко, не доезжая до полосы, которую чистил тракторист.

Тайными тропами повёл Сашка Ивана к ангару. Иван увидел её неживое тело. Вся она была завернута в чистые новые простыни. Он опустился на колени, распеленал лицо и ужаснулся – перед ним лежала в полный рост, морщинистая, с жёлтой, будто собранной в складки, кожей старуха. Лишь нанесённая при жизни ею самой бесцветная губная помада как-то ещё придавала отблеск молодости, которую Иван видел и знал раньше. Он обхватил свою голову руками и запричитал или даже застонал:

– Подлец я, подлец!.. Погубил свою царевну-лягушку!.. Погубил!.. Отродье я басурманское!.. Чудище я приезжее!..

Сашка Шалагаев не очень понимал, о чём говорил Иван, но слухи, которые ходили по деревне, доходили и до него, что вроде бы эта женщина владела страшной тайной и у неё была вторая кожа, которую глупый Иван сжёт, но Сашка никого не судил и не хотел знать чужих тайн и подробностей. Чтобы не лишиться работы, утащил Ивана силой в сани и отвёз к себе домой.

Лида, жена Сашки, с высокой красивой причёской, с гладкой кожей, с ровными и строгими чертами лица, полная, но с резко выделяющейся талией – Иван отметил, что она чем-то напоминала ему первую жену, – встретила гостя хорошо и дружелюбно. Стала усаживать

их за стол, но Сашка отнекивался и говорил, что ему надо быть сейчас обязательно на работе и пусть Иван его дожждётся. Они, Лида и Сашка, были чем-то похожи – оба с гладкой кожей на лице, только у Сашки лицо проще: открытое, широкое и без особого шарма в чертах, а вместе с очень широкими плечами он похож был на доверчивого богатыря Добрыню Никитича с белыми выющимися локонами из русских былин и сказок.

Так Иван оказался у Шалагаевых, которые тоже были приезжими, наедине с Лидой. У них не было по каким-то причинам детей, и жили они, как и Иван с Зинаидой, в казённом доме, но только в центре села.

Иван особым от природы нюхом сразу уловил аромат и терпкий запах дорогих духов. В деревне все знали, что это лётчики доставали и привозили Сашке хорошие, дорогие зарубежные вещи, чаще всего духи, кто летал за границу или даже только в Ригу. Он обратил внимание, что Лида, находясь дома, была очень ухоженной, и её высокая причёска могла быть в таком состоянии, если голову всё время держать ровно и прямо, а если вдруг наклонить, не говоря уже – приложить к подушке, причёска, пожалуй, подумал Иван, сразу сомнётся, испортится или сломается. Халат на ней был тонкий, шёлковый и, Ивану казалось, совсем прозрачный, и когда она близко подошла к столу поставить какое-то блюдо, Ивана обдало сильным жаром, но не собственного огня из души и сердца, а от тела ядрёной упругой женщины. В комнате было тепло, даже жарко, и он мог разомлеть, и ему могло показаться, что от этого ему становилось душно. Но когда полные бёдра, переходившие в крупные ягодицы, оказались у него на уровне глаз, его бросило не в жар, а в холод. И он понял, что им снова овладело страшное, а может подлое чувство в отсутствие только что отъехавшего мужа. Он положил свою руку на талию Сашкиной жены, и рука легла как будто на специальный выступ её тела, и он вспыхнул, как спичка, и ощутил её упругие ягодицы, волной наплывавшие на крылья подвздошных костей таза.

Рано говорить, что эта женщина была ветреной, нечестной или несчастной. Рано судить того, кто окажется мудрее и прозорливее нас. Рано судить того, кто, может, раньше других узнает путь к бесконечному счастью. И они достигнут его, опережая и обгоняя всех нас, кто судил и ругал их, тех самых людей, может именно этих, чья жизнь сложилась по-другому, иначе и будет отличаться от судеб кого-то непохожего на нас и нашу жизнь. А кто-то с пеною у рта учил их и называл разными обидными словами, чтобы унизить или обесчестить семью и их лживые, придуманные нами сиюминутные ценности. А Лида и Сашка проживут свою жизнь, оставляя после себя спокойствие и доброту близким им людям, и со спокойной душой примут последние минуты земного бытия, потому что это был уже их рай на земле.

Лида родит от Ивана ребёнка – черноглазую, черноволосую, неопишемую красавицу. Её муж Сашка, про которого ходили слухи, что он был бездетным, а Лида у него была вторая жена, и от первой у него тоже не было детей, не подавал виду, что у Лиды ребёнок не от него. Он отдаст этой девочке, своему ребёночку, всю любовь своей жизни, всю свою неутомимую энергию отца, весь свой тяжёлый труд и заработок. Ему приходилось чистить взлётную полосу одному, вручную, иногда на протяжении всей ночи. Он передаст дочери всю любовь, какая была у него к жене и к людям, как иногда говорили, что у Сашки любовь голубиная, настоящая, как у лебедей, и вспоминали про его голубей, которых он водил и любил по-настоящему, как и каждого человека в своей жизни...

Он поможет своей дочери получить высшее образование. Она выйдет замуж, и он сыграет ей свадьбу. Устроит её через коллег и друзей на работу в Москву в аэропорт Домодедово, и потом пройдёт много лет и времени, когда они уже с Лидой в преклонном возрасте уедут доживать свою жизнь к дочери в Подмосковье. Лида навсегда сохранит тайну рождения своего ребёнка, и никто об этом никогда и ничего не узнает. Отношения с Иваном она оборвёт сразу, как только поймёт, что беременна, и у них с любимым мужем Сашенькой (она часто так

называла его) наконец появится долгожданный ребёнок, а она очень этого хотела и просила высшие силы природы послать им девочку.

Для Зинаиды вопрос о разводе был уже будто решённым окончательно. Она понимала, что дальше так жить нельзя. Теперь она ждала весны и тепла, высохших дорог, чтобы перевезти кое-какие вещи и снять комнату недалеко от работы, где она уже поговорила с хозяевами, и они за очень маленькую плату, а то и бесплатно соглашались сдать ей жильё, а про цену если и говорили, то об очень символической цене шла речь. Она сейчас всё чаще вспоминала прожитые с Иваном годы, как бы раскладывая на разные чаши весов, что было хорошего и плохого. И понимала: в какую бы сторону ни качнулась стрелка этих воображаемых весов и условных взвешиваний на них терпения и надежды, какая бы чаша, даже с хорошими воспоминаниями, не перетянула другую, – она чувствовала, что продолжает лукавить и обманывать себя. Оставаться с Иваном стало не только тяжело, но и опасно для собственной жизни, а главное – для жизни ребёнка.

Уехать к матери она не могла: та продолжала жить бедно, в том же маленьком домике с земляными полами, на маленькую пенсию, летом сажала картошку, а на зиму уезжала к Муське – помогать нянчить и растить её детей. Зинаида знала: вернись она к ней, мать её никогда не выгонит. Но разве она сможет дать ей то, чего они добились уже с Иваном? У них был хороший, хоть и государственный дом, и доживи они в нём до старости или до пенсии, их никто и никогда бы не выселил, в этом советская власть была уже другой – заботливой и внимательной в каком-то смысле. Топились они углём, считай бесплатно, а на пенсии покупали бы за небольшую цену. Недавно они приобрели холодильник «Саратов», но он так и стоял новый, нетронутый и неподключённый. Продукты они хранили в огромном подвале, который Иван соорудил вместе с заводскими рабочими, Иван только руководил: каким он должен был быть по размеру, сколько железобетонных плит и каких нужно положить на перекрытие, потом чтобы не жалели земли и засыпали толстым слоем, оттого что он не будет промерзать в суровые зимы. Но у них сохранился и погреб от старой хозяйки, и они продолжали им пользоваться тоже – был он в очень хорошем состоянии. Молоко, масло, творог, сметана, сливки, сыры и даже мороженое у них не переводились круглый год. И всё это Иван брал с завода, и, конечно, бесплатно, даром, только потому, что он был начальником.

Зинаида была худой, но дородной, но полноты в ней не было. Пила много молока. Сильно хотела поправиться. Дуня уже из-за её прихоти посоветовала брать и пить молоко у Кати Волковой, по литру парного молока каждый день. Та водила трёх коров, была чистоплотной, марля у неё для процеживания молока всегда была белой, чистой, без единого чёрного пятнышка, даже мух в том месте, где она разливала молоко, никогда не было. Поправиться Зинаиде всё равно не удавалось – видно, дело было не только в молоке.

Потом именно у них, у Шабаловых, появился первый телевизор, и снова мужики с завода сварили Ивану огромную антенну, по высоте в три его дома, и установили на растяжки из толстой металлической проволоки. Начал телевизор показывать фильмы «Адъютант его превосходительства», «Четыре танкиста и собака» и всякие другие передачи, месяцев шесть ходили в дом к ним рабочие с жёнами и детьми смотреть на это чудо. Зинаида всех рассаживала в зале, смотрели, бывало, до поздней ночи хоккей и футбол, пока не появились телевизоры и в других семьях. Вознеслись в небо длинные высокие антенны, да так много, что деревня могла показаться с высоты птичьего полёта космическим поселением из фантастического романа «Люди и звёзды».

В доме у Шабаловых к этому времени уже стояли большой шифоньер, и комод, и огромный сундук, не считая другой мебели, и всё это было забито до отказа, по полной хватке, одеждой, постельным бельём, занавесками из тюля и портьерами. Всё то, что было в бакурских магазинах из-под прилавка, что было на складах, на базах, во всех «блатных» местах, куда

их привозили, было доступно и Ивану. Он был при должности, наравне с секретарями сельских советов, партийными руководителями, председателями колхозов и совхозов, главными врачами, которые появлялись и менялись в бакурской больнице чаще, чем вся номенклатура и политическая элита того времени. А хирурги, они же и главные врачи, в силу особенности профессии – наверное, оттого, что каждый день несли ответственность за жизнь других людей, – спивались чаще всего.

У Зинаиды были мутоновые и цигейковые шубы, несколько пальто, плащей, курток, песцовых шапок, норковых манто. У Ивана тоже были пальто с каракулевыми воротниками, и плащи, и куртки. Особенно он любил каракулевы шапки – у него их было несколько в разное время, но, как правило, не меньше четырёх, с чёрным и серым мехом и с кожей, окрашенной в чёрный или, соответственно, в коричневый цвет. Всё это очень красиво выглядело и богато смотрелось в тот период, особенно с белыми бурками в сильные морозы русских зим.

Иван много раз терял или у кого-то забывал свои шапки, но в Бакурах потерять или безвозвратно забыть свои вещи было невозможно. Те, у кого он их оставлял после вливания в себя очередной порции спиртного, пересылали ему шапку уже на второй день, а если он в стельку пьяным её терял, то её обязательно кто-то находил и, зная, что такие шапки носят только Иван да председатель совхоза, возвращал шапку законному хозяину. Ещё у Ивана был красивый особенный плащ, как полупальто, из толстой плотной болоньевой ткани, лучше кожи, тем более он был практичный и не вытирался, как кожа. Сколько бы Иван пьяным ни кувыркался в этом плаще по весне, по осени или в летние дожди, испортить и загадить чудо-плащ у него не получалось – вот такую ткань умудрялась производить и советская лёгкая промышленность, но следует оговориться: только для избранных. Зинаида всегда этот плащ легко оттирала и отмывала от грязи, от конского навоза и от коровьего дерьма, да так, что протрезвевший Иван никак не мог понять, почему плащ у него был всегда как новый.

У Зинаиды тоже были стильные и практичные вещи, но она их, в отличие от Ивана, берегла, хранила и не подвергала такой порче. Знала, что никогда ей самой не достать и не купить их, и только даже поэтому человек не должен пить, чтобы знать истинную цену своему труду, вещам и собственной жизни. Зинаида хотела жить по-другому, и даже оттого, о чём она уже подумала раньше.

И вот теперь ей снова предстояло изменить свою жизнь, и она будет другой, такой же тяжёлой от бедности, как прежде, когда они жили с матерью, с бедной и несчастной вдовой Маней.

Она всё это понимала и взвешивала. Но удручённо приходила к выводу, что Иван в конце концов, злой и пьяный, может убить её или покалечить сына, и только одна эта мысль о сыне, о ком она больше всего переживала, всё это перевешивало чашу весов горя и отчаяния в её сознании и в сердце в сторону развода. Она сказала самой себе окончательно раз и навсегда: этому нужно положить конец, и теперь она знала, что весной переедет жить в другое место и бесповоротно уйдёт от Ивана, разорвёт с ним узы брака, а содержать, воспитывать и учить сына будет одна.

Сейчас мы снова вернёмся в больничную палату, туда, где лежит Зинаида. На календаре 17 июня 2015 года. В этот день ей исполнилось 79 лет. И она ждала внука Романа. Она знала, что он обязательно приедет. Сына не ждала, он далеко, и если приедет со снохой, то только к выходным.

Она была счастлива, что дожила до этого дня, до этого времени, когда у сына родится тоже сын и он продолжит их род.

День рождения самого Романа был в мае, чуть раньше, чем у Зинаиды, сейчас ему 26 лет, а он уже окончил медицинский институт и интернатуру.

Саратовский медицинский институт – так он назывался, когда у Зинаиды учился сын, а сейчас это академия, которую окончил внук, хотя разницы от названия Зинаида не понимала. Но как тогда, так и сейчас на этой территории, рядом, был и есть Саратовский университет. И её одарённый внучок или уже внук – поправляла по ходу Зинаида свои мысли – в общем, всё равно, сын её сына одновременно окончил в этом самом университете ещё и юридический факультет. Она об этом часто рассказывала подругам и гордилась, когда сравнивала внука с Лениным, а сына – с Чернышевским. А сегодня специально ходила к врачу, который её лечил, и просила, если Роман прибежит поздно, чтобы его пропустили через приёмный покой, ведь он работает на двух работах кроме врачебной ставки. Доктор обещал Зинаиде, что обязательно внука пустят, потому что все его знают как врача из другого отделения. Соседним отделением была экстренная гинекология. Она когда-то хотела, чтобы и сын у неё был таким же врачом, как внук, о них сейчас много говорят и показывают по телевизору, целый сериал сняли. А любимый её президент Путин целую программу ввёл по увеличению рождаемости. Строят везде перинатальные центры. Вот и в Пензе уже открыли огромный и красивый центр. Построили, а кому там работать, если не акушерам и гинекологам, таким, как её любимый внук?

Правда, лечащий врач Зинаиды немного расстроил её и одновременно обрадовал: операцию отложить надо на день-два, у неё повысился сахар и холестерин в крови, поэтому пока «покапают систему», подготовят к наркозу. Она огорчилась от слова «наркоз», и доктор, заметив её беспокойство, переспросил, что её настораживает. Зинаида обречённо ответила:

– Все боятся наркоза. Уходишь куда-то в неизвестность и не знаешь, вернёшься назад или нет!

Врач не этот счёт рассмеялся и уверенно успокоил, чтобы она не переживала:

– За последние тридцать лет или даже больше не было у нас ни одного случая, чтобы кто-то умер от наркоза, – медицина далеко шагнула!

А в палате Зинаида снова успокаивала плачущую соседку. Та тоже ходила к доктору и просила, чтобы её прооперировали как можно быстрее, может даже раньше, чем Зинаиду, если можно – её первой, а Зинаиду второй. Оказалось, у них с мужем и детьми было большое хозяйство: коровы, овцы, свиньи – они этим жили, потому что другой работы в районе для них не было. А муж был большой любитель выпить, и если запивал, то надолго и про скотину забывал. Накормить-напоить некому. А трое детишек были ещё маленькие, старшей только 14 лет исполнилось, она и следит за всеми: и за младшими братьями и сёстрами, и за скотиной, и за отцом. Кормят с отцом, а если тот запьёт, то одна. Жалко дочку, не выдержит...

Зинаиде эта история до боли в сердце показалась знакомой и трогательной, и она скорее не успокаивала несчастную соседку, а заодно с ней плакала и сопереживала, вспоминая что-то большее.

В эти безжалостные минуты и память, и сознание Зинаиды кто-то неведомый снова перенёс в XX столетие, в середину шестидесятых годов, а потом начал водить и останавливать по разным годам – страшным тридцатым и опять погружать в самую безжалостную войну прошлого столетия.

Тихон пришёл к Ивану и стал уговаривать его выступить переговорщиком с их стороны... Да, Тихон сдержал обещание собрать охотников со всего села и дать урок тамбовским и балашовским браконьерам. А по-другому и быть не могло. Те, кто знал Тихона, были уверены: у него такое с рук не сойдёт. А Дуня про Тихона знала больше всех, потому что помнила его с незапамятных времён. Кто же больше неё мог теперь помнить эту жизнь многострадального села, если старше её в селе уже никого не осталось, если только Калач да сам Тихон, а мать Проня была уже без памяти.

Это Дуня рассказала Тихону о Калаче, что когда она на тулупе своего Федота тащила, чтобы спасти его от пули и мороза, этот прихвостень проезжал мимо на санях, она кричала ему, махала руками, звала:

– Савва, родненький, помоги!

Да не тут-то было, проехал, подлец, даже не оглянулся, точнее, оглянулся, но стеганул худую кобылку по задку кнутом из сыромятной кожи и быстро скрылся из виду, чтобы бандиты и его вдруг не заподозрили в связи с красными да тоже не застрелили бы. А потом подлю врал Дуне в глаза, что не видел ни её, ни Федота. Тихон не меньше знал Калача и не с лучшей стороны, но сделать что-нибудь с ним не мог, скорее не хотел, «не перевоспитать таких прохиндеев», – говорил он.

Когда началась революция, потом Гражданская война, Тихон примкнул к красным.

– Я всегда буду за краснопузых, – говорил он. – Надоело батрачить на барина за троих, хлеба досыта не наедался, а так хоть на себя работать начну.

Рассуждал он верно, ведь был он ростом больше двух метров, косая сажень в плечах – есть ему нужно было много. При этом видел в 60 раз острее или сильнее обычного человека, в этом была его уникальность, или врождённый феномен.

Можно этому удивляться, но такие люди были и раньше и встречаются в человеческой природе хоть и не часто, но давно уже описаны наукой. Ведь Левша подковал блоху без микроскопа. Про Петра Первого в летописях тоже сохранились записи, как он отбирал гренадёров в своё войско: просил солдата назвать ту звёздочку, очень маленькую, которую не видит обычный человек, в созвездии Большой Медведицы и в районе какой звезды он её видит – а она светит рядом с одной из звёзд ручки ковша.

Сегодня врачи чертят полосы неврологическим молоточком по груди новобранцев и смотрят на характер красного дермографизма, а Пётр Великий брал к себе воина, который при испуге не краснел, а, наоборот, белел или бледнел, – в этом, говорил он, настоящая сила духа.

Вот и Тихон был таким: высокий и сильный, подкову разгибал, как пластилин, через собственную шею любую кочергу гнул, а однажды, когда с Калачом поругался – Калач почти напротив его дома жил и сейчас живёт, – так он тому на шее кочергу в узел завязал. Из-за этого Калача к кузнецу возили, кочергу с шеи спиливали, сам кузнец раскрутить её руками назад не смог.

Потом Тихон с Калачом помирились, только общались и разговаривали мало, не хотелось прошлое ворошить. Ведь это он, Калач, молодого Тихона ещё мальчишкой барину сдал. Рассказал про мешок зерна, который Тихон без спроса у барина взял и домой принёс. Мать у него тогда сильно, тяжело заболела, умирала, про пирожки рассказывала, как печь их, если её не будет, про подовые пироги вспоминала. Тихон решил, что она пирожков перед смертью хочет, и принёс поэтому домой зерна, чтобы муки намолоть, но пирожков напечь не успели – умерла маманя. А барину Тихон сознался сам, думал, сечь будет, но тот, когда про смерть матери узнал, муку велел на помин оставить.

Похож был Тихон на азиата, мать его была с тех земель и песков, род её с той стороны начинался. И когда Тихон попал в Красную армию, обратили на него внимание чекисты, с тех пор он пройдёт службу в ЧК, ГПУ и НКВД. Ну ещё бы, кто же мог так научиться стрелять из любого оружия: винтовки, револьвера или маузера, как не Тихон? Не обижался он, что смеялись над ним поначалу чекисты, что видел он все звёзды на небе, и говорили:

– Вот читать и считать научим, – они тогда не знали, что школу он окончил блестяще, – скажешь нам тогда, сколько звёзд-то на небе, чтоб уж точно знать, где ещё революции надо делать, ведь буржуи поди и все звёзды захватили.

Тихон был способным, и те, кто читать и считать хотел его научить, через некоторое время поняли, как бы самим не пришлось у него учиться, и смеяться уже над ним никто

не решался. Мало того что он крепким был изначально, он быстро освоил приёмы рукопашного боя и стрелял из маузеров с двух рук по-македонски, попадая во все самые мелкие монеты, которые подвешивали как мишени, чтобы экзаменовать его. Равных ему бойцов в отряде, куда его зачислили, скоро не станет.

Прошёл он чекистом почти всю Среднюю Азию, а до ЧК воевал на Туркестанском фронте в отряде особого назначения. Через два года он уже говорил почти на всех азиатских языках без акцента, и отличить его от настоящего узбека или туркмена было невозможно. По особому распоряжению и заданию Центра он получит позывной «Абдулла», и в очередной раз его внедрят в банду басмачей, чтобы обезвредить её, взять в плен или ликвидировать главаря, как смеялся сам Тихон – «падишаха с гаремом». Возглавлял и водил за собой эту банду жестокий и кровожадный Сулейман.

Наставником и руководителем у Тихона с самого начала оказался, как ему показалось на тот момент, сопливый ещё, ну то есть молодой, чекист, которого все называли товарищем Артёмом. Потом он выяснил, что тот уже был чекистом с большим стажем, который увидел и заприметил Тихона в войсках у товарища Фрунзе и выбрал этого молодого уникама из Бакур для дальнейшей работы в сети шпионажа и диверсий. Тихон его мог называть в целях конспирации только как «товарищ Артём». Настоящее имя и звание он узнает через много лет и при других обстоятельствах.

Чтобы подготовить Тихона к этому заданию – ликвидации банды Сулеймана – (оно для Тихона станет последним, но пока они ещё не знали об этом оба) товарищ Артём здесь, среди песков, найдёт заброшенную мечеть, когда-то превращённую в крепость и очень похожую на ту, где скрывался и откуда делал набег Сулейман – здесь и будут проходить тренировки для натаскивания своего агента в условиях, приближённых к реальным для ведения боя. Тогда руководители ЧК не верили, что это возможно сделать одному человеку, а брат Сулеймана штурмом значит положить несколько сотен красноармейцев. В открытом бою в песках Средней Азии, в этих нескончаемых барханах не было красноармейцев, так искусно управляющихся с конём, как на джигитовках демонстративно бахвалились сами басмачи и точно стреляли – сидя, лёжа, стоя на конях или без коней.

Агент Абдулла скакал на коне, падал понарошку с коня, удерживал себя на коне снизу и сверху не хуже хорошего циркового артиста престижной труппы. Он освоил и обучился этому ещё мальчишкой в Бакурах, когда пас у барина овец, коров и лошадей, там же и обнаружил эту склонность и талант управляться с конём.

Выбора не было. Зачётное задание решили проводить ночью; чекистов высокого звания, рангов и должностей было ровно 10. Банду Сулеймана имитировали 30 красноармейцев – столько их было, бородатых «красавцев», по сведениям разведчиков, рядом с самим главарём, а вся банда насчитывала больше 300 всадников. Каждому красноармейцу на штык винтовки прилепили по монете диаметром около трёх сантиметров. Какие-то были и меньше. И если Абдулла попадал в неё выстрелом из маузера, красноармеец должен был лечь и изображать убитого; если Абдулла неожиданно набрасывал аркан, верёвку с петлёй, лассо или захлёстывал косынкой шею красноармейца, тот должен был тоже упасть и притвориться условно мёртвым.

В общем, высокое начальство хотело убедиться, так ли силён, умён и изворотлив агент Абдулла, как о нём говорят.

А для самого Тихона это было хуже, чем настоящее побоище, ведь любое не до конца угаданное и просчитанное движение могло закончиться смертью красноармейца, то есть своего солдата, изображавшего в учебных целях бандита. Но такого «бандита» он убивать не имел права, жить с этим грузом он потом никогда не смог бы. Но как нужно было объяснять большому начальству, не скажешь же им: «Эх, дураки же вы, дураки» – тем более говорили, что в группе проверяющих был и сам товарищ Троцкий, даже Дзержинского в этом случае было мало.

Тихону разрешалось наносить условно смертельный удар в грудь солдата, у того перехватывало дыхание или должно было перехватить и тот тоже должен был выбывать по условиям показательного боя из дальнейшей «игры», потому что подразумевалось, что дальше Тихон режет басмачу горло. Но если удар Тихона не сбивал дыхание у красноармейца, то красноармейцу разрешало высокое начальство вступать в рукопашный бой с Абдуллой. Товарищ Артём был против этого, причём категорически. Он объяснял, что Тихон не мог рассчитать силу удара и поэтому, если красноармеец пропускал такой удар, дальше его не надо использовать в этой схватке. Но убедить высокое начальство он не смог и не понимал, почему – то ли это амбиции руководства, то ли он не все секреты мог знать в силу своего невысокого должностного положения и звания. А цена ликвидации Сулеймана была слишком высокой, для обезвреживания банды отпускали любые средства и силы.

Но и пострадать самому в учебной глупой игре Тихону не хотелось.

Спустилась ночь. Холодная луна осветила остывший песок Средней Азии. Подали условный сигнал. Операция началась.

Кто-то ждал, вероятно, эффектных трюков, стрельбы по-македонски, скачек на лошадях, блеска лезвий мусульманских кинжалов – их тоже можно было использовать в тренировочном бою, и Тихону говорили, что если он попал брошенным ножом в деревянный приклад винтовки красноармейца, то следовало считать это за ранение...

Но было удивительно тихо. Только время от времени все слышали вой шакалов и пугливое ржание лошадей, которые чуяли передвижение человека-невидимки или человека, сливающегося с самой ночью.

Тихон видел ночью так же, как днём. Он оценил рысьими глазами всё то, что ему предлагали, и участвовать в этой клоунаде не хотел, потому что предвидел, что Сулеймана придётся брать не так, а по-другому, не понарошку играть с потешными солдатами, а рисковать жизнью по-настоящему, – но и портить карьеру товарищу Артёму не собирался. Они уже давно научились доверять друг другу, и он помнил, как тот всегда его отстаивал перед главными чекистами, и он был тем, кто нашёл его у Фрунзе, всему обучил и направил всю его волю и талант в нужное русло. Он всегда об этом знал, и подвести очень важного, а может, и самого главного человека в своей судьбе он, конечно, не мог. И выполнил волю чекистов. Через полчаса он сам лично подал условный сигнал об окончании операции. После этого полуживых, в бессознательном состоянии, собрали 30 красноармейцев, погрузили на повозки и увезли во фронтную лечебницу. Они все останутся живыми и полностью восстановят своё здоровье через полгода. Товарищ Артём подошёл к Тихону, руку жать не стал. Опустил виновато глаза, похлопал его по плечу и сказал, будто прощаясь:

– Вернись живым, Абдулла!

Тихон понимал, что они могут больше не увидятся, и тогда попросил лишь об одном:

– Если что не так пойдёт, в Бакурах похороны меня! Труп по жаре не довезёшь, сожги дотла и пепел мой отвези!..

Но умирать Тихон не хотел, не собирался, не входило это в его планы. Он пришёл воевать за счастливую жизнь, чтобы не было господ, чтобы он мог работать только на себя. Он хотел вернуться живым – поставить хорошую оградку на могиле отца и матери, заказав у того кузнеца, что спиливал кочергу с шеи Калача, построить большой бревенчатый дом и зажить в нём счастливой жизнью с красавицей Аксиньей, которая осталась ждать его в Бакурах до тех пор, пока он вернётся с Гражданской войны.

И вот так мало-помалу, от одного задания до другого тянулась, а скорее бурно кипела, жизнь бессмертного Абдуллы. А в редкие дни через секретную почту его потаённой службы разрешали ему отправить письмо, сообщить ей совсем немного, чтобы она поняла, что он жив, и скоро вернётся, и обязательно на ней женится. Так прошло 10 лет.

Аксинья тоже была из бедной семьи, встречаться и дружить они начали ещё детьми, и постепенно их дружба переросла в крепкую любовь. Всё это время, пока Тихона не было, Аксинья вела затворнический образ жизни, никого к себе не подпускала, почти ни с кем не общалась и терпеливо ждала возлюбленного, ни на какие прогулки и посиделки с девчонками незамужними не ходила. А в долгие зимние вечера она смотрела на себя в зеркало и горько замечала, что у неё появляются морщинки и седина среди прядей густых тёмных волос. Она понимала, что молодость её проходит, а вернётся Тихон живым или не вернётся или только извещение она получит, она не могла знать, но и поступить по-другому она тоже не могла. Не было у них в деревне таких баб или девушек на выданье, которые перестали бы ждать суженых своих только потому, что начинала колебаться и слабеть вера. Ждали до последнего: или уж вернётся и женится, или уж рыдать по-тихому, уткнувшись в похоронку. А те, у кого без вести пропадали, ждали всю оставшуюся жизнь, ждали вечно. Таких Аксинья и сама знала и видела этих женщин, у кого мужа или женихи наречённые не пришли после Японской, Первой мировой, после Гражданской; а ещё, забегаая вперёд, скажем, что будут ждать вечно своих мужей и суженых, пропавших без вести во Вторую мировую войну, русские женщины из русских деревень и городов, закалённые что бедами, что холодами, стойкие на слёзы и причитания, не теряющие веры никогда, умеющие жить и ждать, работать и веселиться уже от самой жизни, неся тяжёлый непосильный груз горя и утраты близкого и любимого человека. Где ещё вы найдёте таких женщин? И кто из вас сможет кинуть камень в спину бакурской, а то и просто русской красавицы по всей Руси необъятной? Вечная память их мужьям и низкий поклон до земли великим и стойким душам, умывающимся слезами их несказанного горя, которое не согнуло и не сломало ни одну из них.

Операция по взятию Сулеймана вышла из-под контроля, чему Абдулла не сильно удивился, и некоторые события внесли неожиданные коррективы. Самая младшая из жён Сулеймана – то ли Геля, то ли Гуля, а может и Гюльчатай, Тихон не всех помнил, да и зачем ему, у Сулеймана был большой гарем, который не мог иметь никакого значения для предстоящих событий. Самую младшую он заприметил, но не вдавался в эту тему, хотя уж слишком хорошая была – настоящая восточная юная красавица. Но зачем она ему нужна, если в Бакурах ждёт его несравненная Аксинья? Но, видно, Тихон ей, как Абдулла в её глазах, чем-то нравился, но он этого не хотел и старался всегда не смотреть в её сторону. Прибежала она к нему ночью и говорить стала по-русски, будто знала, что Абдулла никакой не Абдулла, а русский солдат и даже, может, шпион. Рассказала она ему о том, что перебежал к Сулейману предатель от русских и сообщил, что знает его, Тихона-Абдуллу: мол, служили вместе, поэтому и имя настоящее знает.

– Тихоном тебя зовут. Бежать тебе надо, Тиша!

Тишей его звала одна Аксинья, и знал об этом только он и ещё один человек, его верный друг, соратник, руководитель уже много лет и автор операции по захвату и уничтожению Сулеймана товарищ Артём.

Обдало Тихона жаром и холодом: могли они его так и проверять, уж очень он близок был к Сулейману. Для этого много месяцев потратили на внедрение в банду и на разработку правдоподобной легенды. То, что Тихоном зовут, знали в Красной армии и другие, ведь служить он начинал там добровольцем, это только потом жизнь его засекретили, когда в ЧК пришёл, и не добровольцем в Красную армию записался, а, по шпионской легенде, силой заставили. Так что всё это было пока не самое страшное. А девчонка если врала или правду говорила, теперь не имело значения, у него не было уже времени, и сегодняшняя ночь у Сулеймана была для него последней по плану тайной операции. Он уже держал в руках два маузера, оба ножа, заточенные, как бритва, были в рукаве и в сапоге, и длинная верёвка, которая могла сыграть немаловажную роль, но он не знал ещё какую... и для чего...

Жеребца своего – скакуна вороного – погладил по холке и прошептал:

– Жди!

А девчонку, красивую пигалицу, обратно отправил и сказал самому себе:

– Давай, Тихон! Не робей!

Что было дальше, трудно скоро рассказать и описать словами прозаика. Тихон был машиной, хорошо отлаженной, с отточенными движениями, с глазомером, которого ещё не было известно ни в теории, ни в практике, в науке и технике. Это потом появятся различные видео-приборы для танков, самолётов, пусковых установок ракет, это потом изобретут приборы ночного видения. Даже в бытовом обиходе сейчас доступны такие средства техники почти любому человеку, а тогда это было природой заложено в одном человеке, в самом Тихоне – глаз-алмаз, воевавшим за свободу и счастье бедных и обездоленных людей на всей Земле.

Конечно, сами эти чудеса давно уже были известны людям. Они знали и видели, как умело прыгает рысь или пантера, как изгибается и гнётся в три погибели змея, а потом неожиданно и молниеносно жалит, как далеко видит орёл свою добычу, как быстро бежит львица, убивающая буйвола, как долго может находиться под водой крокодил, выжидая и выслеживая свою жертву. Но сейчас всё это можно было видеть в Тихоне – так его щедро наделила природа, чтобы он и такие, как он, принесли людям счастье, как Прометей принёс людям огонь.

И в эту холодную ночь на чужбине, в песках Средней Азии, в крепости-мечети начался бой. Когда мы говорим «бой», то подразумеваем, что воюют полки, дивизии, эскадроны, когда огромные толпы людей убивают друг друга, а здесь Тихону нужно было, во что бы то ни стало, всего лишь убить 30 обученных басмачей, с детства скакавших на лошадях, стрелявших чуть ли не с пелёнок, и пленить главаря Сулеймана. Но если Тихон ошибётся только на одном, значит, он проиграет всё; ему нужно было сделать только 30 выстрелов, и каждая пуля должна точно лечь в цель. В этой мечети Сулеймана охраняли 30 головорезов, и если Тихон промахнётся хоть один раз, то этот раз станет для него последним – пуля врага убьёт его, стреляли они не хуже чекистов.

Но раз Тихон видел в 60 раз сильнее обычного человека, если ему такая острота зрения была дана от рождения, значит, это было кому-нибудь нужно, как «если на небе кто-то зажигает звёзды», и если он был в ЧК, значит, это было нужно им всем – униженным и оскорблённым, всему трудовому народу.

Он убьёт их всех, безжалостных бандитов, что охраняли Сулеймана, стреляя с двух рук, с одного и второго маузера, он выстрелит всего 30 раз, поделив поровну пулевые отверстия: в левый глаз и мозги одной половине, в правый глаз и мозги второй половине бандитской своры.

Сулейман, как обычно это бывает, возьмёт в заложницы ту самую красивую девчонку из гарема, что приходила ночью предупредить Тихона. И, издеваясь над Абдуллой, глумливо потребует бросить оружие, иначе он убьёт девчонку, как будто Тихон, а для Сулеймана – преданный Абдулла – должен это сделать из каких-то странных человеческих побуждений. Тот не знал, что для Тихона-Абдуллы главным было выполнение задания и умирать ему не хотелось сейчас ни из-за кого. Ведь далеко на севере, в Бакурах, его ждала Аксинья, и разве ему могло быть какое-то дело до жён Сулеймана, даже если он их всех возьмёт в заложницы? И эта несчастная девчонка единственной оказалась в заложницах, потому что Сулейман давно её подозревал в связях с чекистами, а правда это или нет – это ещё бабка надвое сказала. И, скорее, Сулейман блефовал, не мог Абдулла этого не знать: товарищ Артём предупредил бы Тихона, на кого ему можно рассчитывать и опереться, а при случае и использовать как дополнительный канал связи. Конечно, Тихон не мог не заметить, как эта восточная пигалица симпатизировала ему, ну так это ничего не значило, много он повидал таких женщин, которые, казалось, даже любили его, а потом стреляли в спину, но не могли попасть, потому что было у Тихона особое чутьё, тоже доставшееся ему по воле рока. Но красивая молодая мусульманка прочитала, как показалось Тихону, его мысли в голове, а это были страшные для неё мысли, потому что Абдулла не собирался рисковать выполнением задания. Он его выполнит любой

ценой, в том числе и ценой жизни этой мусульманки, которая была лишь маленькой толикой в большой игре железных титанов. Но она пошла на крайние меры, за что её могли бы судить трибуналом советской власти, если бы всё это рассказал «красный Абдулла». И обязательно расстреляли бы уже в застенках безжалостной Чрезвычайной комиссии (ЧК) за возможный провал операции...

– Товарищ Артём! Просил помочь тебе! – закричала она.

Дальше Тихон не думал, не рассуждал, даже мысль не успела промелькнуть в его голове. И всё, что произошло потом, длилось меньше секунды, быстрее скорости света. Он стоял перед Сулейманом в полный двухметровый рост, руки его висели, словно плети. Так могло показаться со стороны. Их хорошо было видно – каждая вдоль тела, в каждой по маузеру, и он словно не хотел шевелиться от видимой усталости. А на самом деле сейчас его руки были как электрические провода под напряжением, он ими сделает то, что обязательно должен сделать, и будет печалиться, если не сумеет сохранить девчонке жизнь.

Он умышленно выронил из левой руки оружие, отвлекая Сулеймана. И оружие должно было долететь до земли и мягко шлёпнуться на песок. С правой руки он выстрелит, не поднимая её, прямо от колена. У него были довольно длинные руки. Единственным патроном, как он рассчитал, оставшимся только в правом маузере (он чувствовал особым чутьём, потому и бросил левый маузер), выстрелил в левый глаз Сулеймана и убил его. Сулейман на долю секунды опоздает со своим выстрелом. Но его пуля всё равно заденет левую половину глазницы Тихона, её наружную стенку и повредит серьёзно глаз.

Так закончилась их дуэль, а для самого Тихона и Гражданская война, его спишут по состоянию здоровья. Он получит наградной маузер, и в деревне почему-то все сразу станут говорить, что ему его вручил сам командующий фронтом Фрунзе. Ну а коня вороного – верного друга для Абдуллы – выхлопочет ему товарищ Артём.

Молодая мусульманка из гарема Сулеймана получит разрешение уехать и покинуть родные места. Ранее она была завербована чекистами и ждала своего часа. Тихон взял её с собой в Среднее Поволжье, потому что теперь он поступить иначе не мог – много месяцев она ходила и ухаживала за ним в госпитале, вместе с врачами подняла его на ноги. Но возвращаться ей было некуда. Гражданская война ещё не закончилась, а её участие в разгроме банды Сулеймана запомнят надолго, и попади она в руки басмачей, те порвали бы её на куски, как бешеные псы. Тихон, конечно, допустить этого не мог, не имел права.

Он привёз красивую мусульманку к себе в деревню и стал с ней жить, как живут муж с женой. Встречаться с Аксиньей не хотел и всячески избегал таких встреч. Пойти и объяснить с ней он тоже не мог, потому что не знал, что ей сказать и как. Разумных объяснений и оправданий у него не было. Просто трагическое стечение обстоятельств, не более. Одна мать Дуни – старше неё в селе уже точно никого не было, старожил и оракул села. Долгожитель, ходячая энциклопедия и живая история Бакур, жила она в одном проулке с Тихоном, по левую сторону, если идти со стороны маслозавода, – хорошо помнила, как отец Тихона Пётр, воевавший в Крыму и на Японской войне, привёз тоже после ранения, когда его списали по здоровью, красивую турчанку и любил её очень. И она его любила. Родился у них мальчик непохожий на всех, на русских и на бакурских, красавец Тихон, а сам Пётр прожил мало и рано умер из-за ранений и болезней. Вырастила и воспитала Тихона та самая турчанка. Полюбила село и его жителей. Помогали вдове, как всем бакурским женщинам, оставшимся без кормильцев с детьми на руках. Мать Дуни, теперь одинокий оракул, когда узнала, что Тихон вернулся с войны с мусульманкой, сказала:

– Не мы судьбу выбираем, а она нас!

Тихон ни о чём не хотел говорить ни с кем, даже с матерью Дуни – мудрым долгожителем их села. Та так долго жила, что про неё и забыли даже уже думать, но она была соседкой, и он всё-таки один раз поинтересовался, что о нём говорят в селе, и ответила старая Проня:

– Теперь ты не должен болеть над этим. Если человек не может изменить обстоятельства, то он должен изменить своё отношение к ним. Живи честно, как ты жил всегда. Бог сам укажет дорогу!

Она снова согнулась крючком, опёрлась на посох и ушла к себе в дом.

Но Тихон всё равно продолжал винить себя, и стыдно ему было очень, хоть, может, до конца и не понимал за что, но ведь Аксинья из-за него жила до сих пор одна.

«Подлец я, – говорил он себе, – подлец поневоле. Не знаю я, что был бы должен сделать любой другой мужик на моём месте. А тот, кто знает, пусть подскажет мне...»

Он невольно втягивался в горе и череду трагических воспоминаний, где сами воспоминания становились невыносимыми. Он отгонял от себя эти мысли и не мог понять и объяснить не только другим, но и себе самому, как он любил и целовал Аксинью, а сейчас прятался от неё и избегал встреч. Вероятно, счастливую любовь Аксиньи и годы ожидания превратил в горе и непосильную ношу, и как бы он ни хотел, всё равно переживал за её дальнейшую судьбу и одиночество.

А вот Калачиха специально нашла его, и только она одна ему сказала то, к чему он ещё не раз будет возвращаться в своих мыслях и думать о разнице добра и зла, и есть ли оно, это зло, в общем космическом пространстве, или вселенной, будет он спрашивать себя об этом ещё и ещё не раз...

– А ты живи с обеими, – сказала ему Калачиха. – Да не в том смысле, в котором ты сразу подумал: жена и любовница. Обоих в дом возьми. Никого не обидишь, если никого из них обижать не станешь. А ты и не обижай! Люби обеих одинаково! Одна – жизнь спасла! Другая – всю жизнь ждала! Ты и выжил, потому что их две было! Одна ждала – тебя и пуля не брала! А уж коли сберечься не смог, вторая выходила! Оно ведь так всегда, Тихон, было. Кого бабы ждут и любят – мужики наши в живых остаются. Бог их бережёт! А тебя, красавца, всегда любили. Подумай, Тихон! – при последних словах Калачиха хихикнула, как чёрт в юбке, и Тихону это не очень понравилось.

Но он никогда бы не смог предложить это Аксинье. И чтобы дальше не печалиться и не думать об этом днём и ночью, начал строить из сосновых брёвен большой красивый дом, похожий одновременно на русскую избу и на исламский минарет.

Но его тасили и заставляли работать в колхозе, а он не соглашался там работать за трудодни и нищенский харч и говорил, что он уже так же работал на барина, а теперь хочет работать на себя. И когда уже состряпали на него уголовное дело за тунеядство, согласился быть пастухом и пасти лошадей, что он умел и любил больше всего. Но здесь он хитрил и отдавал коня под седлом бакурским мальчишкам, те угоняли весь табун в Углы и пасли лошадей до глубокой ночи, катаясь на них верхом и купаясь в реке.

А Тихон в это время поднимал своё личное хозяйство. Покушаться на табун, где пастухом числился Тихон, зная, каким он был, никто и никогда бы не решился.

– Убьёт! – говорили все.

Однажды они всё-таки встретились с Аксиньей. Произошло это у реки. Между ними пробежала искра страсти от непогасшего ещё огня любви. Они замерли, погружаясь в думы глубоких переживаний и старых ран, когда они уже, казалось, затянулись или должны были бы затянуться. Аксинья рассмеялась неестественно и с горечью в горле, с трудом пошутила:

– Не завёл себе гарем, Абдулла?

Тихона бросило в холод и обдало жаром одновременно, как не раз это случалось с ним в минуты трагической опасности. Но он сразу сумел сообразить и понять, что Аксинья не могла знать его второго имени, что вырвалось это у неё случайно, без всякого намёка и понятия о его второй, тайной жизни агента по имени Абдулла. Ведь над его отцом не раз так же шутили в деревне из-за жены-турчанки, а потом и самого Тихона иногда так называли за необычный

для этих мест азиатский вид. Но не успел он прийти в себя, как Аксиныя с длинной косой до поясницы далеко от него отдалилась, да и сказать он не знал что хотел...

С тех пор в деревне к нему основательно прилепилось прозвище Абдулла, вероятно с лёгкой руки Аксины. Хотя истинный смысл этого имени и слова знала только одна женщина, с которой он сейчас жил, – красивая молчаливая мусульманка.

Как только он начал говорить тогда в госпитале, после тяжёлого ранения в глаз, назвал её Улей. Не потому, что её звали так, а потому, что только так мог выговорить: «У-у-ля-я...» Он так называл её, когда хотел позвать, как Герасим Му-Му, чтобы она подала воды и смочила ему пересохшие губы мокрой ваткой. И, может, только стараниями её и уходом за ним он сумел выкарабкаться из смертельной ямы. Так Уля стала его ангелом-спасителем, а может, и хранителем. Ведь именно она привезла его тогда полуживого к чекистам. Там далеко, на Востоке, она не бросила его после ранения в голову, а теперь он не мог бросить её. Но по-другому и быть не могло. Они полюбили друг друга и стали жить счастливо, хотя Тихона всё равно угнетало так понятное стыдливое человеческое чувство, о чём он старался не рассуждать и не судить себя.

Тихон выстроил огромный дом и конюшню для вороного жеребца, что выхлопотал для него товарищ Артём за хорошую службу. Колхоз он ненавидел и говорил о нём плохо и часто вслух. Что мало платили, что придумали какие-то трудодни вроде палочек в журнале, подтверждающих, что был на работе, но прожить на это было нельзя. Он водил большое хозяйство и часто бегал выпрашивать лошадь, чтобы вспахать огород, ведь на породистом скакуне, что стоял у него в стойле, этого делать никак нельзя. Но никто не хотел слушать его и понять – отчасти просто завидовали, особенно кто считал себя руководителем и строителем коммунизма. А Уля уже не раз твердила ему, чтобы он продал её драгоценности и купил, в конце концов, лошадь или трактор, а не кланчил бы худую колхозную кобылу вместе с плугом у председателя.

Тихон называл Улю теперь Ульяной, потому что с годами она повзрослела и стала солидной. Только никак не мог ей втолковать, что при советской власти никому нельзя быть собственником трактора как орудия производства, за это полагалась ссылка в Сибирь.

– Понимаешь, это тюрьма! Колыма! – втолковывал он ей.

Но этого не могла понять уже она.

У неё были очень дорогие камни и золото в виде украшений, которые дарил ей Сулейман, тот, кто мог позволить себе содержать гарем. Тихон не хотел прикасаться к её украшениям не потому, что он относился с брезгливостью к дорогим безделушкам, подаренным бывшим мужем, не чувствовал самоуничижение перед ними, а потому что брать дарёные вещи у красивой женщины ему было не по себе, даже стыдно. Он считал, что деньги и доходы в семью должны приносить мужчины от своего честного труда. Поэтому он говорил своей жене-спасительнице:

– Пусть подарки всегда тебя радуют!

И восточная красавица ценила в Тихоне чувство собственного достоинства и отмечала в нём непохожее на других мужчин отсутствие в словах и поступках ревности и упрёков за её прошлую жизнь, словно её и не было вовсе, той жизни в гареме у Сулеймана. Будто спас её Тихон от страшного дракона из какой-то восточной или русской сказки и любил её с чувством бесконечного самозабвения.

Жизнь уходила... Так не бежит скоро горный ручей, так не течёт сильно бурная река, как быстро бежит и проходит сама жизнь человека. Она отсчитывает дни, недели, месяцы, годы. Жизнь будто одним лёгким движением перста какого-то неведомого волшебника перелистывает страницу за страницей настольного календаря и удивительно легко переносит потоки добра и зла, энергий с положительными и отрицательными зарядами. Здесь человек сначала перестаёт задумываться, а потом начинает сожалеть и удивляться. И вдруг обнаруживает, что в этом нескончаемом бесконечном ритме, в огромном пространстве звёзд над землёй, где он никогда не видит начала и конца Вселенной, он начинает понимать, что сам как Вселенная.

Но у него есть начало – его рождение и конец той земной жизни, которая всегда и у всех трудная, как испытание. Он начинает тосковать об её окончании в обычном, простом человеческом понимании, так что даже весь трагизм и драматизм своей прежней жизни перестаёт его трогать и волновать так сильно, как раньше. И он перестаёт сопереживать, и ненавидит само приближение конца, что называют земной смертью, и обнаруживает в этом страх и бесчестное устройство мира со своей простой житейской, бытовой точки зрения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.